



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Stanford University Libraries



3 6105 126 990 568

PG  
3332  
T33K5  
1883a



Purchased from  
the Income of the  
*Anna Vickers Crawford*  
Memorial Fund

..

Stanford University  
Libraries











\* \* \*

**This is an authorized facsimile of the original book, and was  
produced in 1968 by microfilm-xerography by University  
Microfilms, A Xerox Company, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.**

\* \* \*



*Хоцянов, К*

11

## ОПЫТЪ

РАЗБОРА ПОВѢСТИ ГОГОЛЯ:

„ТАРАСЪ БУЛЬБА“.

**К. Хоцянова.**

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1883

74

PG3332  
T<sub>33</sub>K<sub>5</sub>  
1883a





THE LIBRARY OF CONGRESS

PHOTODUPLICATION SERVICE

WASHINGTON 25, D. C.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

# ОПЫТЪ

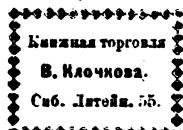
РАЗБОРА ПОВѢСТИ ГОГОЛЯ:

„ТАРАСЪ БУЛЬБА“.

1.13

85941  
250057

РГ 33<sup>2</sup>  
33Х5  
1



Дозволено цензурою 20 Декабря 1882 года.

## ОПЫТ РАЗБОРА ПОВѢСТИ ГОГОЛЯ: „ТАРАСЪ БУЛЬБА“.

Въ повѣсти своей: „Тарасть Бульба“ Гоголь поэтически изображаетъ крупное историческое явленіе — запорожское казачество. Отсюда — при разборѣ данной повѣсти, нужно, во-первыхъ, выяснить, какую идею сообщаетъ авторъ объ этомъ историческомъ явленіи, и, за тѣмъ, во-вторыхъ, показать, какъ онъ эту идею представляетъ въ живыхъ, художественныхъ образахъ.

Идея о какомъ бы то ни было явленіи получается у настъ тогдѣ, когда мы знаемъ причины его возникновенія, самое возникновеніе его изъ данныхъ причинъ и, наконецъ, тѣ существенные признаки, которыми оно, благодаря всему этому, отличается. Отсюда и для отысканія идеи Гоголя о запорожскомъ казачествѣ, нужно раскрыть начала, которыми оно, по мнѣнію автора, порождено и вызвано къ жизни, освѣтить данными началами его рость и развитие и выяснить; на основаніи всего этого, его отличительныя существенныя черты.

Вслушиваясь въ то, что говорить авторъ въ различныхъ мѣстахъ своей повѣсти<sup>1)</sup>, становясь лицомъ къ лицу со всѣмъ содержаніемъ ея, проникаясь духомъ ея, дополняя прямыми историческими даннымито, что приходится читать въ ней между строками,— мы относительно происхожденія и развитія запорожского казачества узнаемъ и усматриваемъ слѣдующее:

Южная первобытная Россія оставлена своими князьями. Она беззащитна. Какъ коршунъ налетаетъ на нее, душить и пожирать

<sup>1)</sup> Напримеръ въ 1-й главѣ: „Бульба быль упрямъ страшно...“ до словъ: „поднять оружіе во славу христіанства“ включительно; въ 3-й главѣ, отъ начала до словъ: „Скоро оба молодые казаки“ и пр.

ее страшный, свирепый, кровожадный, пепасытный хищникъ — монголь. Истребляются ея города, села и деревни, ея храмы и святыни; какъ срѣзанная косой трава, падаютъ ея обитатели и покрываютъ ее своими трупами; она захлебывается въ крови своихъ собственныхъ дѣтей. Гибнутъ слабыя дѣти ея, гибнутъ и сильные сыны ея. Но въ тоже время, безчеловѣчій врагъ вызываетъ наружу и въ высшей степени возбуждаетъ, таяніяся въ глубинахъ душъ народа, его могучія, богатырскія силы. И вотъ, возстаютъ мощные сыны южной Россіи, сбрасываютъ съ себя иговариа и, лишенные дома и кровли, лишенные дорогихъ и милыхъ сердцу, уходить за пороги Днѣпра,—уходить въ то мѣсто, которое удобно для нихъ, но которое недоступно для ихъ враговъ<sup>1)</sup>, уходить не за тѣмъ, чтобы укрыться въ этомъ мѣстѣ отъ ужаснаго врага, а затѣмъ, чтобы, собравшись здѣсь съ большими или меньшими общими силами, нападать на этого же врага и мстить ему, — мстить и ратовать за себя, за братьевъ и сестеръ, за отцевъ и дѣтей, за родину-отчину-матерь, — мстить и ратовать за человѣческія права, покоренный дикимъ произволомъ, за святую христіанскую вѣру, поруганную истязаніемъ и умерицленіемъ ея исповѣдниковъ, уничтоженіемъ христіанскихъ храмовъ и святынь. Эти грозные борцы,бросивъ съ себя оковы ненавистнаго рабства, получаютъ название казаковъ, т. е. вольныхъ воиновъ или вольныхъ людей вообще<sup>2)</sup>. Выйдетъ съ тѣмъ, составивъ изъ себя общество для борьбы съ невѣрными, для защиты христіанъ и ихъ храмовъ и святынь, для охраны такимъ образомъ Христовой вѣры. — наши борцы называются еще и рыцарями, именемъ членовъ тѣхъ религіозныхъ обществъ, которая съ такою же точно цѣлью появляются въ это время во всѣхъ концахъ Европы<sup>3)</sup>.

Еще монголь клюетъ свою беззащитную жертву, а уже новый и еще болѣе опасный врагъ постепенно подкрадывается къ ней, пока не налагаетъ на нее свою тяжелую руку, пока совершиенно не опладѣваетъ ею, пока всецѣло не охватываетъ ее своими желѣзными тисками. Сираж! она еще больше изнемогаетъ, еще больше задыхается подъ тѣщстью обрушившихся на нее бѣдъ. Еще чувствительнѣе для неѣ вражескіе удары. Еще глубже ея раны, еще невыносимѣе ея муки, еще болезненнѣе ея воспи и стоны. Новый

<sup>1)</sup> См. Русск. ист. Иловайского, 141 стр., 4-го изд. Бопланъ: „Описание Украины“.

<sup>2)</sup> См. сочин. Костомарова: „Богданъ Хмѣльницкій“.

<sup>3)</sup> См. сочин. Гоголя т. IV, ст. „Вглядъ на составление Малороссіи“, парагр. 7.

врагъ ея — это Польша. Какъ страшный, все истребляющій ураганъ ироносится монголь вадъ осиротѣлой землей, но послѣ этого хоть на короткое время, да настунаетъ для нея болѣе или менѣе тихая погода: хоть изрѣдка, хоть мелькомъ, да заглянетъ къ пей, да пригрѣсть ее лучъ свѣта. Польша же, хотя не бурно, хотя тихо, да покрываетъ ее непроницаемымъ мракомъ. Монголь разрушаетъ города, села и деревни, губить народъ; но при всемъ томъ, получая отъ своей жертвы материальную добычу, успокаивается. Монголь налагаетъ рабство на весь народъ, но въ тоже время не трогаетъ личной свободы каждого отдельного члена его<sup>1)</sup>. Монголь уничтожаетъ христіанскіе храмы и святыни, мучить и убиваетъ христіанъ: тѣмъ не менѣе предоставляетъ каждому по своему вѣровать въ Бога и славословить Его, предоставляетъ каждому мыслить и говорить на свое родномъ языке, соблюдать свои права и обычай, словомъ — не касается внутренняго — умственнаго, нравственнаго и религіознаго міра своихъ побѣжденныхъ<sup>2)</sup>. Польши же никогда не оставляетъ въ покой своей жертвы: совершенно порабощаетъ личную свободу южно-росіянъ низшаго класса, дѣлаетъ ихъ своими полными рабами, постоянно заставляеть ихъ работать на нее, покрываетъ ихъ кровавымъ трудомъ свою безумную роскошь и высасываетъ изъ нихъ всѣ ихъ соки: неутомимо, дьявольски старается поработить умственно - нравственно - религіозный міръ всѣхъ южно-росіянъ: посягаетъ на ихъ вѣру, языкъ, права и обычай. Какая.... дерзость! Ничтожный червь считаетъ себя приваннымъ, сильнымъ, полнымъ властелиномъ въ дѣлахъ всемогущаго Бога. Какой возмутительный деспотизмъ — насильно заставлять другихъ признавать совершенѣйшимъ то вѣроисповѣданіе, которое мы сами признаемъ такимъ! Какое варварство вообще приуждать другихъ мыслить, чувствовать, говорить, жить по нашему — и тѣмъ убивать ихъ человѣческую личность, ихъ внутреннее я! Но Польша этимъ не смущается. Да и не Бога и не внутренняго міра своихъ побѣжденныхъ собственно то имѣть она въ виду. Всѧ цѣль ея состоитъ въ томъ, чтобы совершенно поработить себѣ южную Россію, чтобы уничтожить всякую самобытность ея и стереть съ лица земли ея личную физіономію. Вотъ для этого-то и старается Польша уничтожить вѣру, языкъ, права и обычай всѣхъ южно-

<sup>1)</sup> См. Русск. ист. Устр., т. I, стр. 255, изд. 5.

<sup>2)</sup> См. Русск. ист. Иловайского, стр. 55, изд. 4.

россиянъ, уничтожить то, чѣмъ сохраняется цѣльность и самостоятельность народа, его жизнь, его крѣпость и сила, его личность. Въ эту тяжкую годину народныхъ бѣдствій, пасынки южной Россіи, особенно изъ дворянъ, избѣгая притѣсненій со стороны поляковъ, принимаютъ католическую вѣру, усвоиваютъ себѣ польскіе права и обычаи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самыи языки. Вѣрные же сыны родины и отечества, особенно изъ простаго народа, тѣмъ тверже держатся своей православной вѣры, своихъ правовъ и обычавъ и своего языка. За то эти послѣдніе подвергаются самыми жестокими гоненіямъ не только со стороны поляковъ, но и со стороны своихъ же вѣроломныхъ русскихъ. Но въ тоже время, являясь для южной Россіи болѣе безчеловѣчнымъ врагомъ, чѣмъ монголъ, Польша вмѣстѣ съ тѣмъ больше послѣдняго и будить и воспламеняетъ спящія исполненія силы народа. И вотъ въ то время, какъ одни изъ мучениковъ за свои убѣжденія страдаютъ и погибаютъ подъ гнетомъ невыносимаго рабства, другіе изъ нихъ съ негодованіемъ разрываютъ цѣпи этого рабства, оставляютъ домъ, семью, родныхъ и друзей, и уходятъ за тѣ же пороги Днѣпра, въ то же удобное для нихъ, но недоступное для ихъ враговъ мѣсто<sup>1)</sup>, уходятъ къ своимъ кровнымъ по плоти, духу и вѣрѣ,—уходятъ не за тѣмъ, чтобы искать у нихъ убѣжища отъ опасности, а за тѣмъ, чтобы вмѣстѣ съ ними мстить своимъ врагамъ и ратовать за все дорогое и святое.

Само собою понятно, что интересы новыхъ пріппельцевъ и прежнихъ обитателей Запорожья дѣлаются общими, что мысли, чувства и желанія однихъ находять полный отголосокъ въ сердцахъ другихъ и что, наконецъ, всѣ они, какъ братья, сливаются въ одну обширную, родную, такъ сказать, казацко-рыцарскую семью.

Такимъ образомъ, за порогами Днѣпра все больше и больше растетъ и развивается общество, которое, по самой сущности своей, обладаетъ слѣдующими характерными чертами:

а) Члены этого общества возстаютъ противъ деспотизма, противъ насилия, противъ произвольнаго господства одного человѣка надъ другимъ. Отсюда въ основу ихъ общины ложится принципъ свободы, привинципъ равенства. Всѣ они „чины-братья“ между собою. Правда, они сознаютъ, что члены общины, какъ и члены тѣла, должны быть управляемы одною главой. Но начальникомъ ихъ ста-

<sup>1)</sup> См. 171 стр. соч. Бопланъ: „Описание Україны“ Устр. Русск. ист. т. I, стр. 272.

новится тотъ, которому они сами вручаютъ власть надъ собой; который, по ихъ мнѣнію, обладаетъ, сравнительно со всѣми ими, избыткомъ физическихъ, умственныхъ и нравственныхъ силъ, и который для того именно и является старшимъ между ними, чтобы этимъ избыткомъ силъ своихъ служить имъ. Ихъ собственное сердце, ихъ собственный здравый смыслъ диктуетъ имъ священные слова. Евангелія: "...Кто хочетъ между вами быть большимъ, да будетъ вами слугою<sup>1)</sup>":—слова Того, Кто въ совершенствѣ зналь и выразилъ идеалъ соціальныхъ отношеній между людьми. И они, т. е. члены Запорожской общины, осуществляютъ эти слова самой жизнью своею.

б) Лучшіе сыны южной Россіи, дорожа своимъ роднымъ языккомъ, своими нравами и обычаями, особенно дорожатъ своей Православной Религіею. Они всею душою вѣруютъ, что одна только Православная Религія даетъ человѣку истинное спасеніе. Поэтому-то они такъ много, такъ сильно и страдаютъ за нее. Страдаютъ за нее тѣ изъ нихъ, на которыхъ обрушивается монгольскій царизмъ. Ихъ, правда, не принуждаютъ отказаться отъ православной религіи. Но и они, во время варварскихъ набѣговъ невѣрныхъ, въ борьбѣ съ этими послѣдними за православныхъ христіанъ, за православные храмы и святыни, лишаются родного крова, семейства, друзей, и поэтому справедливо могутъ считаться страдальцами за Православную Религію. Тѣмъ же болѣе могутъ считаться такими тѣ изъ лучшихъ сыновъ южной Россіи, на которыхъ сыплются безшонцадные удары польского бича, которыхъ столько преслѣдуютъ, столько жутать прямо изъ-за Православной Религіи. А известно, что и маловажная сама по себѣ вещь становится для насъ дорога, если намъ приходится бороться и страдать изъ-за того, чтобы защитить отъ грубаго насилия свои законныя права на нее. Какъ женость этого, должна быть дорога лучшимъ сынамъ южной Россіи Православная Религія, которая и сама по себѣ для нихъ неоцѣнима и за которую имъ, кромѣ того, приходится столько страдать въ борьбѣ съ грубымъ, дикимъ насилиемъ. Вотъ это-то отношеніе къ Православной Религіи, или, лучше сказать, эта-то благоговѣйная любовь къ ней и заставляетъ многихъ сильнейшихъ изъ нихъ, крайне возмущившихся духомъ, удалиться въ Запорожье съ тѣмъ, чтобы, вооружившись здѣсь, мстить и ратовать за неё. Стало-быть—

<sup>1)</sup> Мате. 20, 26.

эта же благоговейная любовь къ Православной Религии живеть въ сердцѣ послѣднихъ и въ самомъ Запорожье.

в) Душою всего человѣчества служить чудная всемогущая, животворная любовь.. Только выродки человѣчества, потерявши образъ Божій и подобіе Божіе, уничтожили въ себѣ этотъ высочайшій даръ неба; потушили въ себѣ этотъ согрѣвающій и оживляющій всѣхъ свѣтильникъ міра. Вирочемъ, можетъ быть, и у нихъ тлѣется онъ еще на днѣ души хоть ничтожной искоркой, но крайней мѣрѣ, по отношенію къ тѣмъ нравственнымъ уродамъ, которые раздѣляютъ ихъ позорную жизнь, ихъ постыдные интересы. Во всякомъ случаѣ, даръ этотъ присущъ всѣмъ тѣмъ людямъ, которые не составляютъ исключенія изъ общей человѣческой семьи. Но онъ находится у нихъ на различной степени яркости, силы и блеска. У однихъ, напримѣръ, горитъ онъ яркимъ пламенемъ, у другихъ же онъ едва мерцааетъ слабымъ огонькомъ, у однихъ любовь всеобъемлюща, простирается на всѣхъ людей; у другихъ же она слишкомъ узка, ограничивается маленькимъ кружкомъ ихъ родныхъ и друзей, а по отношенію къ остальнымъ людямъ оказывается холодной, безжизненной, мертвой, по отношенію къ вѣкоторымъ изъ нихъ замѣняется даже противоположнымъ чувствомъ,— чувствомъ непрости, вражды и проч. Все это зависитъ—съ одной стороны—отъ того, въ какой степени горитъ въ сердцѣ людей и сияетъ въ ихъ душѣ божественный огонь, а съ другой—отъ того, какъ влияютъ на нихъ различныя обстоятельства ихъ жизни, различные столкновенія ихъ съ другими людьми. Кровавыя зрѣлица, неслыханныя зѣрства, ужасныя пытки, безциркѣвныя жестокости, которыя монголы и поляки чинять въ южной Россіи, возбуждаютъ и воспламеняютъ ея достойныхъ сыновъ состраданіемъ, а вслѣдъ затѣмъ и любовью ко всѣмъ угнетеннымъ и порабощеннымъ дѣтямъ ея, ко всѣмъ ея страдальцамъ и страдалищамъ. Вотъ эта-то пламенная любовь къ нимъ и заставляетъ возмущенныхъ героевъ южной Россіи перенестись въ Запорожье съ тѣмъ, чтобы, сплотившись здѣсь въ одно могучее цѣлое, жити и ратовать за нихъ. Слѣдовательно, эта же пламенная любовь къ нимъ со всему яркостью, со всему силу горить въ сердцѣ нашихъ героевъ и въ самомъ Запорожье. Здѣсь, кромѣ того, каждый запорожецъ проникается еще и особленною любовью къ своимъ братьямъ-товарищамъ, которые пришли сюда для той же цѣли, для какой онъ приспѣлъ, которые подвергаются той же участии, какой онъ подвергается; которые раздѣляютъ всѣ его глав-

ныя мысли, чувства и желания; такъ что въ концѣ концовъ все запорожцы какъ бы живутъ одной душою и однимъ сердцемъ.

г) Монголы и поляки, увлекаясь своимъ необузданымъ произволомъ, своей свирѣпостью, издѣваются и кончевствуютъ надъ всемъ святымъ для южно-россіянъ, терзаютъ, грызутъ, рвать, обагрятъ кровью, наполняютъ воинами и стонами ихъ родину-отчизну, лишаютъ ихъ самыхъ дорогихъ и милыхъ сердцу. Все это естественно воспламеняетъ истинныхъ сыновъ южной Россіи ненавистью, злобою и негодованіемъ по отношенію къ ихъ врагамъ. Вотъ это-то чувство и заставляетъ проснувшихся богатырей южной Россіи уйти въ Запорожье съ тѣмъ, чтобы, соединившись здесь въ одну дружину, мстить своимъ врагамъ и ограничивать ихъ звѣрства. Этимъ же чувствомъ, събодательно, живутъ и дышутъ наши богатыри и въ самомъ Запорожїѣ.

д) Любовь къ родинѣ-отчизнѣ, любовь къ вѣрѣ, любовь къ братямъ, ненависть къ врагамъ, злоба и негодованіе противъ враговъ — все это заставляетъ сильныхъ, могучихъ сыновъ южной Россіи прийти въ Запорожье съ тѣмъ, чтобы, подавъ другъ другу руку на братство, на товарищество, вмѣстѣ мстить врагамъ и работать противъ нихъ за все дорогое и святое. Всѣдѣствіе этого запорожца и дѣлаютъ эти набѣги на своихъ враговъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ запорожцы дѣлаютъ эти набѣги еще и съ тою цѣлью, чтобы поживиться на счетъ своихъ враговъ, поживиться на счетъ тѣхъ, которые ихъ лишили всего. Между тѣмъ это послѣднее обстоятельство сообщаетъ нашимъ запорожцамъ далеко пеблаговидную наружность, — наружность хищническую, наружность ихъ же, столь ненавистныхъ для нихъ, враговъ. Нападая на этихъ послѣднихъ, запорожцы расплачиваются тою же монетою, которую должны имъ, и которая вообще въ ходу въ этотъ грубый, дикий, варварскій вѣкъ. Но въ такомъ случаѣ запорожцы являются въ высшей степени жестокими, безчеловѣчными, — являются такими же кровопийцами, какими видимъ ихъ враговъ.

е) Отчаянныи, ожесточенныи, звѣрскія схватки съ врагами, предоставляемыя свободу, раздолье ненависти, злобѣ, негодованію и яности, накинувшимъ въ душѣ запорожцевъ, вмѣстѣ съ тѣмъ даютъ полный просторъ ихъ широкой богатырской натурѣ, ихъ грознымъ, исполинскимъ силамъ, въ высшей степени разжигаютъ и въ тоже время закалиютъ ихъ жестьній характеръ, дѣлаютъ ихъ вполнѣ неустранимыми, храбрыми, мужественными и внучаютъ ихъ совер-

шенно хладнокровно встрѣчаться лицомъ къ лицу со смертью и прямо смотрѣть ей въ глаза.

ж) Но яростные набѣги, кровавыя схватки чередуются съ временнымъ затишьемъ. Какъ же тогда разражается вулканическая натура запорожцевъ? Въ чёмъ тогда находить для себя исходъ ихъ мощная, бьющая ключемъ энергія и ихъ кищучія, неудержимыя силы? Могучій, но бранный духъ запорожцевъ, ихъ широкая, бушующая натура, клокочущія въ груди ихъ бурныя силы естественнѣе всего проявляются и показываютъ себя тогда въ бѣшеной, не знающей границъ, гульбѣ. Тѣмъ болѣе, что этому способствуетъ еще слѣдующее обстоятельство. Безощадныя схватки съ врагами бывають для многихъ изъ запорожцевъ роковыми: у многихъ изъ нихъ слетаетъ во время этихъ схватокъ съ плечъ буйная головушка; ипогія изъ нихъ дѣлаются въ это время жертвами преждевременной смерти. Отсюда время затишья есть единственное для запорожца время, которое онъ можетъ считать своимъ, въ которое могутъ послужить ему добытыя у враговъ ужаснымъ, кровопролитнымъ, смертельнымъ боемъ сокровища, въ которое онъ можетъ пожить и повеселиться. Какъ же такимъ отчаяннымъ удальцамъ, какъ запорожцы, не пользоваться этимъ временемъ для пиршства и разгула?!

Свобода, равенство, братство, отчаянное удальство во время войны, широкое раздолье во время мира привлекаютъ въ Запорожье и не южно-rossіянъ, напримѣръ, обитателей восточной Руси, даже поляковъ и татаръ, или же и южно-rossіянъ, но въ томъ и другомъ случаѣ чужыхъ тѣхъ имѣнно мотивовъ, которые заставили прийти сюда уже знакомыхъ намъ запорожцевъ. Привлекаютъ тѣхъ, которые уже обречены палачу, которымъ уже глядить въ глаза и которыхъ уже охватываетъ своими холодными, костлявыми руками ужасная позорная смерть преступника, но которымъ удается избѣжать этой страшной, роковой участи своей; тѣхъ, которымъ вообще почему-либо не въ мочь жить на своей родинѣ или въ своемъ отечествѣ; тѣхъ, которые вообще не терпятъ никакого гнета и грудью стоять за равенство правъ всѣхъ людей; тѣхъ, которые ищутъ простора для своей неугомонной натуры, которые хотятъ развернуться и дать волю своимъ неукротимымъ силамъ, для которыхъ, какъ говорится, жизнь—копѣйка, голова—наживное дѣло; тѣхъ, которые не имѣютъ крова, пріюта, родныхъ, друзей, которые не знаютъ, гдѣ голову преклонить, тѣхъ, которыхъ прель-

щаетъ богатая добыча и привольная жизнь и проч. и проч. Запорожскіе казаки-рыцари охотно принимаютъ всѣхъ этихъ выходцевъ, потому что съ поступлениемъ послѣднихъ въ общину растетъ ея сила и могущество, — однако, принимаютъ съ тѣмъ лишь, совершенно понятнымъ, условіемъ, чтобы всѣ новые пришельцы были или сдѣлялись православными христіанами и чтобы они всегда являлись готовыми положить жизнь своей за то, что такъ дорого и свято для общины. за что она ратуетъ съ такимъ геройскимъ самоотверженіемъ и за что она такъ бѣжтрашно отдаетъ жизнь свою.

Выводя отличительные признаки запорожскаго казачества изъ причинъ, породившихъ послѣднее, мы видимъ, что одними и тѣми же обстоятельствами обусловливаются какъ привлекательныя, возвышенныя, гуманныя, такъ и отталкивающія, низкія, безчеловѣчныя черты характера запорожцевъ. — видимъ, что иль одного и того же источника вытекаетъ чистое и печистое, свѣтлое и темное. Но при этомъ же, взглѣдываясь хорошенько въ дѣло, мы вмѣстѣ съ тѣмъ видимъ, что основнымъ въ характерѣ запорожцевъ служать ихъ хорошия черты, только вся жизнь запорожцевъ порита такими жестокими невзгодами, что хорошия черты ихъ въ своемъ проявленіи неизбѣжно соцровождаются дурными чертами: видимъ, что въ глубинѣ души запорожцевъ чистое и свѣтлое, только это чистое въ своемъ бурномъ и неудержимомъ стремлениіи къ цѣли захватывасть и мчить за собою попадающееся ему на пути печистое: только лучи этого свѣтлого падаютъ на непрозрачныя тѣла, за которыми образуется темное пространство.

И дѣйствительно!

Переносясь въ Сѣчь, колыбель и хъсто-жительство запорожцевъ, мы, напримѣръ, поражаемся здѣсь ихъ бѣшенымъ разгуломъ. Но этотъ бѣшеный разгуль служить, какъ мы уже знаемъ, выраженіемъ ихъ могучей, бурной натуры, ихъ кипящихъ, исполинскихъ силъ, является „признакомъ широкаго разжата душевной воли“ <sup>1)</sup>, и потому заключасть въ себѣ такъ много поэтическаго, заключасть въ себѣ „что-то очаровывающее“ <sup>1)</sup>.

Мы поражаемся въ Сѣчи грубыми отношеніями казаковъ между собою: чуть только возникаеть между ними несогласіе, какъ тотчасъ же они пускаютъ въ ходъ кулаки и ломаютъ другъ друга до тѣхъ

<sup>1)</sup> Выраженія Гоголя.

поръ, пока одни изъ нихъ не осиливаютъ другихъ. Но это объясняется слѣдующимъ: казаки не привыкли решать спорные вопросы путемъ отвлеченныхъ логическихъ доводовъ и цѣльныхъ стройныхъ разсужденій; между тѣмъ, сама жизнь пріучила ихъ смотрѣть на физическую силу, какъ на даръ Божій, который дасть имъ возможность отстаивать и защищать все правое и святое; и вотъ, въ случаѣ несогласія между ними, они инстинктивно и употребляютъ этотъ даръ Божій, какъ жребій свыше, какъ жребій, который долженъ решить и указать, кто говоритъ правду и кто заблуждается. Поэтому-то схватка запорожцевъ между собою и не заключаетъ въ себѣ ничего враждебнаго, ничего злобнаго. Это доказывается тѣмъ, что непосредственно за окончаніемъ ея и побѣдители и побѣженные отправляются вмѣстѣ цировать и гулять, какъ родные братья, какъ добрые друзья и товарищи.

Насъ поражаетъ въ Сѣчи неслыхано своеольное, дерзкое, несправедливое отношеніе казаковъ къ своему верховному начальнику. Кошевої не разрѣшаеть казакамъ набѣга на султана, потому что сами они имѣютъ Христовы мъ поклявшись послѣднему жить съ нимъ въ мирѣ. И за это пьяные казаки ругаютъ кошеваго въ глаза очень неприличными словами и приказываютъ ему тотчасъ же положить знаки своего достоинства. Но мы уже знаемъ, что казаки сами вручаютъ кошевому власть надъ собою, вручаютъ для того, чтобы онъ, пользуясь даннымъ ему отъ Бога, сравнительно съ ними, избыткомъ дарованій, служилъ всѣмъ имъ, служилъ святому дѣлу всей общины. Отсюда—стоитъ кошевої на высотѣ своего призванія, свято исполняетъ свои обязанности,—и онъ пользуется безпрекословнымъ повиновеніемъ со стороны казаковъ. Является ихъ полнымъ властелиномъ, неограниченнымъ владыкою: оказывается же онъ не на своеу мѣстѣ, злоупотребляетъ общимъ довѣрiemъ, кощунствено относится къ своимъ священнымъ обязанностямъ,—и онъ тотчасъ же лишается власти надъ казаками, становится лицомъ отвѣтственнымъ передъ ними, лицомъ, подлежащимъ ихъ суду и строгому наказанію. Вотъ поэтому-то, когда охмѣтѣвшимъ казакамъ, неспособнымъ здраво разсудить, брошена мысль, что кошевої, не предпримая никакихъ набѣговъ, губить ихъ казацкія силы; когда мысль эта попадаетъ въ ихъ отуманенныя и разгоряченныя головы, какъ искра въ порохѣ; когда при томъ еще разбушевавшаяся воинственная натура ихъ жаждетъ бѣшеной дѣятельности и войны, — они и требуютъ, чтобы кошевої

немедленно же снять съ себѣ сань и уступить мѣсто другому, ко-  
торыи, по ихъ мнѣнію, лучше станеть служить казакамъ и дасть  
имъ имъ полную возможность показать свою рыцарскую доблѣсть.  
Что же касается той грубой формы, въ которой казаки выражаютъ  
кощевому свое требованіе, тѣхъ неприличныхъ словъ, съ которыми  
они обращаются къ нему, то за это вообще нечего взыскивать съ  
запорожцевъ. Они еще болѣе грубо поступаютъ съ тѣмъ, кого вы-  
брали въ кошевые, когда тотъ спачала унирается и отказывается  
принять предложенную ему честь. Они незнакомы съ уточненіемъ  
обращеніемъ культурнаго человѣка, который часто даже свои ядо-  
витыи, враждебныи мысли, по отношенію къ близкнему, прикры-  
ваетъ прекрасными, вѣжливыми, дружескими фразами. Благодаря  
взгляду запорожцевъ на кошеваго, этотъ послѣдній, даже въ томъ  
случаѣ, когда онъ; по ихъ собственному сознанію, съ достоинствомъ  
носить свой сань, давая имъ совѣты, а не приказанія, долженъ  
стоять предъ ними безъ шапки, тогда какъ сами они остаются въ  
шапкахъ. Но эти же самые запорожцы, наибѣлье своеольные и  
буйные изъ нихъ, почтительно стоять „съ нецокрытыми головами“,  
потупивъ очи въ землю“, когда кошевой раздаетъ „новелѣніе“:  
эти же самые запорожцы покорно слушаютъ когда онъ говорить:  
„Если кто въ походѣ напьется, то никакого иѣтъ на него суда:  
какъ собаку за шеяку шовелю его премыкнуть до обозу, кто бы  
онъ ни былъ, хоть найдоблестнѣйший казакъ изъ всего войска;  
какъ собака будетъ онъ застрѣленъ на мѣстѣ и кинутъ безъ вся-  
каго погребенія на поклевъ птицамъ, потому что пьяница въ по-  
ходѣ недостоинъ христіянскаго погребенія“!).

Переносясь на театръ, бранпыхъ подвиговъ запорожцевъ, мы  
становимся свидѣтелями ихъ безчеловѣчности, варварства, тиран-  
ства, звѣрства. Мѣста, гдѣ происходит расправа казаковъ съ вра-  
гами, охватываются всепожирающимъ пламенемъ, далеко, далеко  
распространяютъ вокругъ себя зарево всенистребляющаго пожара,  
оглашаются душу раздирающими воцѣлями и стопами, заливаются  
и утучняются кровью. Тамъ, гдѣ появляются запорожцы, „все про-  
щаются съ жизнью“, все гибнетъ. Гибнуть виновные, гибнуть и  
невинные. „Дыбомъ стагъ бы пынѣ волось — говорить авторъ —  
отъ тѣхъ страшныхъ знаковъ свирѣпства полуудицаго вѣка, кото-  
рые пронесли вездѣ запорожцы. Избитые младенцы, обрѣзанные

1) См. пов. „Т. Б.“

груди у женщинъ, содранная кожа съ ногъ по колѣна у выщущенныхъ на свободу.—словомъ, круинюю монетою отылачивали казаки прежніе долги". Но при всемъ томъ запорожцы именно только „отылачивали прежніе долги“. И потому именно запорожцы такъ усердно расплачивались съ своими кредиторами, что они, запорожцы, слишкомъ сильно проникнуты любовью къ тому, за что имъ пришлось расплачиваться,—они слишкомъ сильно проникнуты любовью къ Православной Вѣрѣ ико неѣмъ братиямъ своимъ по вѣрѣ. Это въ высшей степени краснорѣчиво доказывается слѣдующими фактами. Пома рѣчь идѣть о набѣгѣ на татаръ съ цѣлью паживы, съ цѣлью посвятить молодыхъ казаковъ, еще не видавшихъ сраженія, въ санъ воина-рыцаря, между казаками замѣчается колебаніе, разногласіе. Правда, когда кошевой предлагаетъ „пустить съ членами однихъ молодыхъ“, тоша со всѣхъ сторонъ кричитъ: „Веди, веди всѣхъ!“, но при этомъ же ретивые запорожцы прибавляютъ: „за вѣру готовы положить головы“, счиная, очевидно, сраженіе съ невѣрными борьбою за вѣру. Во всякомъ случаѣ, пока еще пѣтъ нужды сражаться за вѣру и за братьевъ по вѣрѣ, казаки, если и рѣшаются сдѣлать набѣгъ на татаръ, то именно только для молодыхъ — и только молодыхъ думаютъ снарядить въ походъ. И на всю эту затѣю они смотрѣть лишь какъ на приготовительное средство къ настоящей борьбѣ за святое дѣло. Да и самая рѣчь о набѣгѣ на татаръ первоначально возбуждена только однимъ изъ казаковъ. Но едва получается изъ гетманщины вѣсть, что поляки возмутительнейшимъ образомъ кощунствуютъ и издѣваются надъ Православной Вѣрой, надъ православными храмами и святынями; что поляки подвергаютъ христіанъ жестокимъ оскорблѣніямъ, варварскимъ истязаніямъ, крайне мучительнымъ убийствамъ, лютымъ казнямъ,—едва получается эта вѣсть, какъ ужъ всѣ запорожцы, словно одинъ человѣкъ, всѣ и старые, и молодые, всѣ горятъ желаніемъ идти противъ ненавистнаго врага, всѣхъ пожираеть жажда мести, всѣ обрѣты воинственнымъ пламенемъ. Происходитъ совѣщеніе только относительно способа нападенія на врага: относительно же того, нужно ли это нападеніе, необходимо ли оно, никто и не поднимаетъ вопроса: для запорожцевъ это уже давпо рѣшенное дѣло, какъ дѣло первой важности, какъ дѣло святое, какъ дѣло, неразлучное со всѣмъ ихъ существованіемъ, какъ дѣло, составляющее главную цѣль всей ихъ жизни и дѣятельности. Когда запорожцы находятся подъ Дубномъ, изъ Сѣчи получается вѣсть,

„что татары, во время отлучки казаковъ, ограбили въ ней все, вырыли скарбъ, который втайне держали казаки подъ землей, избили и забрали въ плѣнъ всѣхъ, которые оставались, и со всѣми забранными стадами и табунами направили путь прямо къ Переяславу... Въ подобныхъ случаяхъ водилось у запорожцевъ гнаться въ ту же минуту за похитителями, стараясь настигнуть ихъ на дорогѣ, потому что плѣненные какъ разъ могли очутиться на базарахъ Малой Азіи, въ Смирнѣ, на Критскомъ островѣ, и Богъ знаетъ, въ какихъ мѣстахъ не показались бы чубатыя запорожскія головы!“ Но теперь не то,—теперь казаки въ недоумѣніи, казаки не знаютъ, что дѣлать: оставаться ли имъ подъ Дубномъ, или гнаться за татарами. Что же удерживаетъ запорожцевъ подъ Дубномъ? Желаніе отомстить полякамъ? Нѣтъ, запорожцы „здесь уже погудили. Лиши знаютъ, что такое казаки, за вѣру, сколько было по силамъ, отомстили“<sup>1)</sup>). Надежда получить съ поляковъ добычу? Опять же нѣтъ; „корысти съ голоднаго города немногого“<sup>1)</sup>). Въ материальныхъ расчетахъ запорожцамъ, наоборотъ, несравненно выгоднѣе гнаться за татарами, которые похитили всю ихъ богатую казну. Казна эта, кроме того, дорога запорожцамъ еще и въ нравственномъ отношеніи: она, вѣдь, „добыта христіанской кровью“<sup>1)</sup>). Что же все-таки удерживаетъ запорожцевъ подъ Дубномъ? Что приводить ихъ въ смущеніе и недоумѣніе то, что они не знаютъ, по отношенію къ кому исполнить имъ „первый святой законъ творищества“ — къ плѣненнымъ ли поляками, или къ плѣненнымъ татарами. Запорожцы не хотятъ оставить у поляковъ „собратьевъ своихъ на то, чтобы съ нихъ съ живыхъ содрали кожу, или, исчевтвовавъ на части казацкое ихъ тѣло, развозили бы ихъ по городамъ и селамъ, какъ уже сдѣлали они (т. е. поляки) съ гетманомъ и лучшими русскими витязями на Украинѣ“. Въ тоже время запорожцы чрезвычайно тревожатся тѣмъ, что если они сейчасъ же не поспѣшатъ освободить своихъ товарищѣй, плѣненныхъ татарами; то жизнь этихъ плѣнниковъ „продана будетъ на вѣчное невольничество язычникамъ, что хуже всякой лютой смерти“. Выручаетъ запорожцевъ старѣйший годами во всемъ запорожскомъ войскѣ, Гасьянъ Бовдюгъ“. Бовдюгъ предлагаетъ одной половинѣ запорожцевъ остататься

<sup>1)</sup> Соч. Гоголя, т. I, стр. 333.

подъ Дубномъ, а другой гнаться за татарами. Всѣ запорожцы приходятъ въ восторгъ отъ предложенія Бовдюга. Имъ слышился въ этомъ предложеніи голосъ свыше, голосъ Самаго Бога. Бовдюгъ является въ данномъ случаѣ выразителемъ того, что жило, но таилось во всей природѣ, во всемъ духѣ запорожцевъ: слова Бовдюга выводить на свѣтъ Божій ту истину, которую каждый изъ запорожцевъ носитъ въ глубинѣ своей души. Уста Бовдюга произносятъ то, о чёмъ каждому запорожцу втайне говорило его же собственное сердце. Или—душа и сердце всѣхъ запорожцевъ заговорили, послѣ сильнаго напряженія, устами Бовдюга. Но почему такъ радуются запорожцы? Чѣмъ они такъ восторгаются? Развѣ они по видѣть, что, раздѣлившись на двѣ части, они этимъ на половину уменьшаютъ свою силу? Развѣ они не знаютъ, что всей ихъ силы необходимо для борьбы какъ съ однимъ, такъ и другимъ врагомъ? Развѣ они не понимаютъ, что, рѣшаясь нападать на того и другаго врага съ половиной войскомъ, они, вмѣстѣ съ тѣмъ, рѣшаются идти на вѣрную смерть? Да, запорожцы все это хорошо видѣть, все это хорошо знаютъ, все это хорошо понимаютъ. Тѣмъ не менѣе, они все-таки радуются предложенію Бовдюги. все-таки съ восторгомъ принимаютъ это предложеніе: оно даетъ имъ возможность исполнить священнѣйшій долгъ свой по отношенію къ однѣмъ и другимъ товарищамъ, даетъ имъ возможность выразить свою безпрѣдельную любовь ко всѣмъ товарищамъ, избавлять ихъ отъ необходимости оставить тѣхъ или другихъ товарищѣй своихъ бѣзъ всякой борьбы въ рукахъ враговъ, избавлять ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ отъ невыразимой внутренней боли, отъ безконечнаго душевнаго горя, отъ невыносимыхъ сердечныхъ мукъ. А все это такъ важно для запорожцевъ, что заглушаетъ въ нихъ мысль о неизбѣжной смерти за товарищѣй, или — лучше сказать — самую эту смерть за товарищѣй дѣлаетъ пріятной, желанной гостью. Да развѣ они давно уже не обрекли себя на смертельную борьбу за православныхъ братьевъ своихъ вообще? Имъ ли, поэтому, задумываться надъ смертью, имъ ли охотно не жертвовать жизнью тамъ, где рѣчь идетъ объ ихъ ближайшихъ товарищахъ, которые тѣже-нѣйшимъ образомъ связаны съ ними одной общей судбою, одной общей участью? И запорожцы раздѣляются на двѣ половины. Одна половина прощается съ другой. Въ высшей степени трогательно это прощеніе. Охотно приносятъ себѣ въ жертву, въ тоже время каждый изъ запорожцевъ невольно задумывается о судьбѣ своихъ

товарицей, какъ тѣхъ, съ которыми разстается, такъ и тѣхъ, съ которыми ему предстоитъ совершить великий роковой подвигъ,— товарицей, которые такъ дороги, такъ мылы его сердцу. Закаленныя въ бою рыцари, чуждыя нѣжностей, цѣлюются, однако, теперь другъ съ другомъ.—Цѣлются потому, что этимъ они дѣятвительпо выражаютъ не простую нѣжность, а глубокую, неисчерпаемую товарищескую любовь, которая невольно вырвалась наружу, въ тяжелую минуту прощенія,—прощенія, по всей вѣроятности, послѣднаго, — цѣлются потому, что это составляетъ для нихъ святой христіанскій обрядъ. Поэтому же они и цѣлются „навѣстъ“. Ничего не говорять казаки, прощааясь другъ съ другомъ, молчать они, но какъ знаменательно это молчаніе! Какъ выразительно ихъ взаимное прощальное пожатіе руки! Какъ много говоритъ собою одинъ только видъ задумчивой сѣдой головы казака! Прощеніе казаковъ другъ съ другомъ въ высшей степени и торжественно. Это приготовленіе къ великому священнодѣйствію, къ великому жертвоприношенію, при которомъ каждый думаетъ занять мѣсто перво-священника, войти въ святое святыхъ своей души и самаго себя принести на закланіе. Наступаетъ и самое священнодѣйствіе, самое жертвоприношеніе. Казаки приносятъ свои головы, свою душу на алтарь священной любви къ вѣрѣ и товарицамъ, и тысячами ложатся на полѣ битвы. Но что мы слышимъ изъ устъ умирающихъ казаковъ? Что произносятъ запорожцы въ послѣднія минуты своего земного существованія, въ тѣ страшныя, роковые и вмѣстѣ съ тѣмъ торжественные, священныя минуты, когда вся жизнь, вся душа человѣка невольно высказывается въ нѣсколькихъ словахъ? Испускающіе духъ свой, казаки завершаютъ свое земное бытіе, вѣтъ своихъ земныхъ подвиговъ слѣдующими словами: „Процайдите, паны-братья-товарици! пусть же стоять на вѣчныя времена православная русская земля и будетъ ей вѣчная честь...“, или: „Пусть же прощадутъ вѣтъ враги и ликуетъ вѣчные вѣкы русская земля!..“, или: „Пусть же цвѣтетъ русская земля!..“, или: „Благодарю Бога, что довелось мнѣ умереть при глазахъ вашихъ, товарици! пусть же иосѣтъ насъ живуть лучше, чѣмъ мы, и красуется вѣчно любимая Христомъ русская земля!..“ Чѣмъ жили казаки, за то они и умираютъ, съ тѣмъ и душа ихъ улетасть на небо. Конечно, страшная бездна, неизмѣримая прошать между любовью запорожцевъ и любовью Того, кто отдалъ Себя на страданія и смерть за все человѣчество. Кто среди ужасныхъ, невыразимыхъ мукъ мозился за

враговъ своихъ. Но Самъ Спаситель сказалъ: „Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою положить за други своя“<sup>1)</sup>. Много ли самоотверженныхъ людей, которые осуществили и осуществляютъ эти великия, любвеобильныя слова? Такие люди рѣдкими, рѣдкими единицами стоятъ въ исторіи человѣчества. Они, какъ свѣтильники среди ужаснаго мрака ночи, свѣтятся на очень, очень далекомъ разстояніи другъ отъ друга. А между тѣмъ запорожцы цѣлыми тысячами осуществляли сейчасъ приведенныя слова Божественнаго Учителя.

Постѣ всего сказанаго ясно какъ Божій день, что Гоголь сообщаетъ намъ о запорожскомъ казачествѣ слѣдующую идею:

Тяжелыя обстоятельства, горькія испытанія, доставшіяся на долю южной Россіи въ то время, когда она находилась подъ игомъ татаръ и поляковъ, вызвали изъ нѣдра ея на сцену народной жизни и дѣятельности людей, колосальныхъ въ физическомъ и нравственномъ отношеніи, людей истинныхъ героеvъ плоти и духа, людей, всецѣло посвятившихъ себя служению великой, свѣтлой, гуманной идеѣ, людей, отдавшихъ душу свою и положившихъ головы свои за эту идею: но тѣ же самыя тяжелыя обстоятельства, тѣ же самыя горькія испытанія были причиной и того, что служеніе этихъ людей сейчасъ сказанной идеѣ неизбѣжно выражалось грубымъ, жестокимъ, варварскимъ, безчеловѣчнымъ, звѣрскимъ образомъ.

И вотъ эту-то идею свою о запорожскомъ казачествѣ, идею о замѣчательномъ историческомъ явленіи Гоголь передаетъ не какъ историкъ, а какъ поэтъ.

Но въ чемъ заключается различіе между передачею идеи о томъ или другомъ историческомъ явленіи историкомъ и передачею этой же самой идеи поэтомъ?

Чтобы отвѣтить удовлетворительно на этотъ вопросъ, необходимо сказать, въ чемъ состоитъ вообще сущность поэзіи и отличіе ея отъ науки.

Извѣстно, что съ самого появленія человѣчества на порогѣ жизни, съ первого шага его на пути земнаго странствованія, кор-милецей и руководительницей его является вѣнчаная окружающая насъ природа. Она впервые пробуждаетъ дарованія Богомъ человѣчеству силы и способности. Подъ ея влияніемъ, на ея глазахъ эти силы и способности растутъ и развиваются. Неразрывно съ

<sup>1)</sup> Иоанна, гл. 15, ст. 13.

этимъ, человѣчество все болѣе и болѣе знакомится съ своей воспитательницей и учительницей. Подъ ея же вліяніемъ человѣчество знакомится и съ своимъ собственнымъ внутреннимъ міромъ, она же открываетъ человѣчеству глаза и показываетъ ему, какой чудный даръ данъ ему отъ Бога. Страшной, таинственной, грозной, беспощадной является сначала природа для человѣчества. Но чѣмъ ближе человѣчество знакомится съ природою, чѣмъ больше подъ ея вліяніемъ раскрываются предъ нимъ его собственная духовныя силы, чѣмъ ярче эти силы горятъ и освѣщаютъ его внутренній міръ, чѣмъ больше оно сознаетъ и видитъ свои дарованія, свою мочь,—тѣмъ болѣе смягчается предъ нимъ его суроваia, недоступная прежде наставница, тѣмъ болѣе она открываетъ ему свои дивныя прелести, свои чудесныя тайны, свои неисчерпаемыя сокровища, тѣмъ болѣе она покоряется и побѣждается имъ, тѣмъ болѣе она вынуждена признать его своимъ обладателемъ и властелиномъ. При всемъ томъ, однако, нельзя сказать, чтобы природа учила человѣчество на свою же бѣду, на свою же голову. Наоборотъ, въ обладаніи ею человѣчества она только и находится истинное выраженіе своей жизни, истинный смыслъ и истинное значеніе своего бытія. Природа сверкаетъ вѣчной красотой, въ природѣ таится премудрость Божія, надъ природою носится духъ Божій. Но въ тоже время сама природа ничего этого не видитъ, ничего этого не знаетъ, ничѣмъ этимъ не наслаждается. Кто же, кроме человѣка, который одинъ только изъ земныхъ тварей созданъ по образу и по подобію Божію, который одинъ только одаренъ способностью понимать прекрасное, разумное и величественное, кто же, кроме человѣка, увидѣть бы вѣчную красоту природы, оцѣнилъ бы эту красоту и наслаждался бы ею? Кто же, кроме человѣка, открылъ бы таящуюся въ природѣ премудрость Божію и воспользовался бы ею для своихъ разумныхъ, высокихъ цѣлей? Кто же, кроме человѣка, узрѣть бы носящагося надъ природою Духа Божія и освѣтился бы имъ на темномъ, невѣdomомъ пути своей жизни? Вмѣстѣ съ тѣмъ, пока человѣчество порабощено природою, пока оно не чувствуетъ внутри себя божественнаго огня, пока оно не знаетъ дарованныхъ ему Небомъ силъ и способностей, члены его, безсмысличные, безумные рабы, унижаютъ и оскверняютъ въ своемъ лицѣ образъ Божій и подобіе Божіе, плотю подавляютъ духъ свой, въ каждомъ изъ такихъ же, какъ сами они, существѣ—видятъ существо плоти, а не духа, существо звѣря, а не человѣка,

и, какъ звѣри же, душать и пожираютъ другъ друга. Но чѣмъ больше человѣчество освобождается изъ-подъ ига природы, чѣмъ оно обогащается свѣтѣніями, чѣмъ больше разгорается въ немъ божественный огонь, чѣмъ оно сознастъ дарованія ему Небомъ могущество и власть, тѣмъ болѣе члены его возвышаютъ и освѣщаютъ въ себѣ образъ Божій и подобіе Божіе, тѣмъ болѣе предоставляютъ духу господства падь плоти. тѣмъ болѣе видятъ въ каждомъ изъ подобныхъ себѣ существъ существо человѣка, а не звѣря, тѣмъ болѣе проникаются, вслѣдствіе этого, любовью другъ къ другу и тѣмъ болѣе заботятся о взаимномъ счастіи и благоденствіи. Однимъ словомъ, чѣмъ больше человѣчество понимаетъ окружающую его вѣшнюю и свою собственную внутреннюю природу, чѣмъ оно выступаетъ изъ мрака невѣжества и подвигается впередъ на пути прогресса и просвѣщенія,—тѣмъ оно счастливѣе, тѣмъ оно выше, тѣмъ оно чище, нравственнѣе, тѣмъ оно ближе къ вѣчнымъ, непреложнымъ евангельскимъ истинамъ, которыя такъ прекрасно выразили и показали высокій идеалъ человѣческой жизни, человѣческаго счастія и блаженства. И кто вѣрить въ вѣчный прогрессъ человѣчества, кто вѣрить, что христіанство, какъ единая религія, согласная со всею природою человѣка, какъ единая религія, устанавливающая между Богомъ и людьми общеніе живое, свободное, благотворное, общеніе любящаго отца съ дорогими для него дѣтьми, какъ единая религія, способная возвышать человѣка до Бога,—кто вѣрить, говоримъ мы, что христіанство по всему этому должно завоевывать всѣ уголки міра, всѣ тайники человѣческой души и человѣческаго сердца,—тотъ вѣрѣтъ съ нами церенесется въ даль будущаго и увидитъ, что наступить наконецъ то блаженное время, когда всѣ люди станутъ лицомъ къ лицу съ Христовыми истинами, когда истины эти зальютъ своимъ свѣтомъ всю вселенную, когда этимъ свѣтомъ освѣтятся всѣ души и согреются всѣ сердца.

Но какимъ жѣ образомъ получается столь необходимое, столь драгоцѣнное для человѣка познаніе вѣтнняго и внутренняго міра? Само собою разумѣется, что для этого познанія необходимо знакомство съ явленіями того и другаго міра. Но какъ пріобрѣтается это знакомство? Конечно, каждое явленіе отличается отъ всѣхъ другихъ своими особенными признаками: иначе оно и не было бы отдельнымъ, самостоятельнымъ явленіемъ. И вотъ, при встрѣчѣ со всякимъ индивидуальнымъ явленіемъ, мы отличаемъ и узнаемъ

его по его особенностямъ признакамъ. Но, во-первыхъ, явленій виѣшняго и внутренняго міра такое бесконечное множество, что всей многовѣковой жизни человѣчества, всѣхъ его гигантскихъ силъ и трудовъ недостаточно для того, чтобы познакомиться съ каждымъ изъ этихъ явленій въ отдѣльности. Во-вторыхъ, въ томъ и другомъ мірѣ совершается вѣчна однихъ явленій другими, такъ что каждое отдѣльное явленіе, какъ такое имено, смѣшившись слѣдующимъ, исчезаетъ на вѣки. А потому и знаніе, которое приобрѣтается человѣчествомъ относительно того или другаго явленія, какъ такого имено, должно, по изчезновеніи этого иослѣдняго, сдѣлаться бесполезнымъ и, не прикрѣпленное ни къ чему, въ скоромъ времени совершенно изчезнуть. Къ тому же смѣна явленій совершается съ такой быстротою, что всѣ они лишь мелькаютъ предъ глазами человѣчества. Стѣдовательно, и познанія, которые приобрѣтаются относительно тѣхъ или другихъ отдѣльныхъ явленій, какъ такихъ имено, должны лишь мелькать предъ умственнымъ взоромъ человѣка, должны быть совершенно мимолетны. Въ-третьихъ, какъ ни много явленій остаются за предѣлами зрѣнія и вѣданія человѣчества, все-таки бесконечно число тѣхъ явленій, съ которыми человѣчество встрѣчается и знакомится. Какое же бесконечное разнообразіе, какой же страшный беспорядокъ, какой же невыразимый хаосъ должны быть послѣ этого въ умственной области человѣчества! Между тѣмъ, человѣкъ, служа отраженіемъ Безконечной, Всеобъемлющей Идеи, Вѣчнаго, Единаго Духа, неудержимо стремится обнять своимъ умомъ всю вселенную, жаждеть знанія постояннаго, неизѣбнаго, и среди всякаго разнообразія неутомимо ищетъ однообразія, во всякомъ множествѣ непрѣменно старается найти единство. И дѣйствительно! Уже потому самому, что во внутреннемъ мірѣ отражается Безконечная Идея, Вѣчный, Единый Духъ; уже по тому самому, что виѣшний міръ, если и не служить такимъ отраженіемъ Безконечнаго, Вѣчнаго, Единаго, какимъ служитъ внутренний міръ, то все-таки, подобно послѣднему, является плодомъ творческой дѣятельности этого же Безконечнаго, Вѣчнаго и Единаго,—уже по тому самому—говоримъ мы—явленія того и другаго міра заключаютъ въ себѣ данины для удовлетворенія всѣмъ сейчасъ сказаннымъ потребностямъ человѣка. Какъ ни разнообразны явленія виѣшняго и внутренняго міра, всѣ они группируются въ нашемъ умѣ въ цѣлые стройные ряды, изъ которыхъ каждый заключаетъ въ себѣ большое или менѣшое

количество ихъ. Явленія каждого ряда группируются въ одно цѣлое по тѣмъ общимъ признакамъ, которые составляютъ ихъ основу и сущность, т. е. по такимъ общимъ признакамъ, отъ которыхъ зависятъ многіе другіе признаки данныхъ явленій и безъ которыхъ ни одно изъ нихъ не можетъ существовать. Отсюда—и самые признаки эти называются основными или существенными, а явленія, обнимаемыя ими, однородными. Таковы, напримѣрь, признаки растенія и ствola по отношенію ко всѣмъ деревьямъ; признаки жизни и произвольного движенія относительно всѣхъ животныхъ и проч. и проч. И вотъ, благодаря общимъ существеннымъ признакамъ, мы, во-первыхъ, дѣлаемъ обширныя, бесконечныя завоеванія на пути къ познанію явленій външняго и внутренняго міра. Узнавъ общіе существенные признаки одной только части однородныхъ явленій, мы, тѣмъ не менѣе, по логической необходимости, заключаемъ, что и всѣ остальные однородные явленія, сколько бы ихъ ни было, и гдѣ и когда бы они не существовали, непремѣнно должны обладать тѣми же самыми общими существенными признаками. Напримѣрь, мы знаемъ, что все люди, которые такъ или иначе известны намъ, обладаютъ слѣдующими существенными признаками: разумомъ и человѣческимъ образомъ. И мы съ логической необходимостью заключаемъ, что и всѣ остальные люди, сколько бы ихъ ни было, и гдѣ и когда бы они не существовали, непремѣнно должны обладать тѣми же самыми существенными признаками: разумомъ и человѣческимъ образомъ. Допустить, что одна часть однородныхъ явленій обладаетъ одними существенными признаками, а другая часть—другими, очевидно, значило бы утверждать относительно одного и того же цвѣта, что онъ и черни и бѣль, относительно одного и того же времени, что оно и день и ночь и проч. Такимъ образомъ общіе существенные признаки дѣлаютъ для нась доступными самыя отдаленные области знанія и даютъ нашему уму возможность обнять всю бесконечно-разнообразную вселенную. Во-вторыхъ, общіе существенные признаки даютъ намъ знаніе постоянное, вѣчное и неизмѣнное. Общіе существенные признаки явленій отвлекаются отъ ихъ частныхъ, отличительныхъ признаковъ и соединяются въ одно цѣлое. Это цѣлое называется понятіемъ или идеей, словомъ греческимъ, отъ глагола *εἶδω*—видѣу, потому что знать основу и сущность явленій значитъ уже понять или видѣть ихъ какъ слѣдуетъ. Вотъ это то понятіе или идея и даетъ намъ собою вѣчное, неизмѣнное знаніе. Пусть себѣ одинъ явленія вѣчно

уступають мѣсто другимъ. Но при этомъ всегда замѣчается слѣдующее: а) однородный явленій смѣняются однородными же; б) въ каждый данный моментъ только часть однородныхъ явленій подвергается измѣненію, всѣ же прочія остаются существовать до тѣхъ порь, пока, въ свою очередь, не смѣняются—одни раньше, другие позже—новыми однородными явленіями. Отсюда—въ каждой ряду однородныхъ явленій совершается вѣчное движение, вѣчное течеіе, вѣчное измѣненіе, но самъ рядъ, рядъ вообще, никогда не прекращаетъ своего существованія. А какъ бы разнообразны ни были явленія того или другаго ряда во все время его существованія, общіе существенные признаки ихъ всегда одинаковы. Такимъ образомъ—общіе существенные признаки, взятые отвлеченно отъ обладающихъ ими явленій, непрерывной цѣлью тянутся съ самого перваго момента возникновенія того ряда, въ которомъ замѣчаются, тянутся съ тѣхъ порь, когда сѣдая теперь старина была еще въ младенческихъ пеленкахъ, и продолжаются въ безконечность. Слѣдовательно—идея, заключающая въ себѣ общіе существенные признаки того или другаго ряда однородныхъ явленій, взятые отвлеченно, вѣчна и неизмѣнна. Безпредѣльное, смертоносное и вмѣстѣ съ тѣмъ животворящее время, оставляя однихъ людей дожидаться своей роковой очереди, ежедневно, ежечасно, ежеминутно уносить другихъ въ вѣчность, третьихъ вызываетъ имъ на смѣну. Но это самое показываетъ, что родъ человѣческій вообще, или, что тоже—человѣкъ вообще никогда не уничтожается, никогда не умираетъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ никогда не уничтожается, никогда не умираетъ идея человѣка. Вообще, если бы мы обладали безконечно далекимъ, всеобъемлющимъ зрѣніемъ, если бы вмѣстѣ съ тѣмъ могли подняться на такую высоту, съ которой бы въ состояніи были обозрѣвать всю вселенную,—то взорамъ нашимъ открылись бы невыразимо чудныя, волшебныя, разнообразныя картины мірозданія. Мы бы, напримѣръ, видѣли, какъ внизу растягивается безпредѣльное море, покрытое, усыпанное различными живыми существами; одни изъ нихъ въ полномъ разгарѣ жизни, силь и здоровы, другія только что начинаютъ жить и смотрѣть на свѣтъ Божій; третыи уже склоняются подъ тяжестью лѣтъ и дожидаются послѣдняго заката своихъ дней; четвертаго изнемогаютъ подъ бременемъ страданій, немощей и болѣзней; одни энергично и смѣло совершаютъ свое плаваніе, другія слабо и нерѣшительно, третыи совсѣмъ никакихъ движеній не дѣлаютъ сами и остаются только во власти прихотли-

выхъ волнъ; но изъ всѣхъ этихъ существъ море постоянно, въ каждомъ пунктѣ своего неизмѣримаго пространства, поглощать все новыя и новыя жертвы, которыя погружаются въ бездну его и исчезаютъ тамъ на вѣки, оставивъ послѣ себя на его поверхности лишь минутную и то едва замѣтную зыбь; вмѣстѣ съ тѣмъ изъ той же бездны постоянно возникаютъ, выростаютъ, возстаютъ все новыя и новыя существа и занимаютъ мѣсто предшествовавшихъ имъ существъ. Мы бы видѣли, какъ земля, словно непасытное, страшное чудовище, каждую минуту, каждое мгновеніе, въ неизчислимыхъ пунктахъ своей поверхности, отверзается и пожираетъ новыя и новыя добычи смерти и разрушенія; на ряду съ этимъ та же земля несетъ на своихъ плечахъ и питаетъ своими соками самыя разнообразныя, самыя дивныя, самыя красивыя, самыя великолѣпныя созданія міра: она же постоянно рождаетъ новыя и новыя существа и, подобно нѣжной, любящей матери, лежитъ ихъ на своей груди. Мы бы видѣли, какъ на лонѣ природы красуется безчисленное множество поразительно прекрасныхъ, величественныхъ, колоссальныхъ явлений и какъ среди нихъ не斯特рять явлений, совершенно противоложныя,—видѣли бы несмѣтное множество благодѣтельныхъ, животворныхъ явлений и рядомъ съ ними такое же несмѣтное множество явлений страшныхъ, разрушительныхъ. Мы бы видѣли, какъ во всемъ животномъ царствѣ одни существа постоянно истребляютъ и пожираютъ другія. Мы бы видѣли, какъ въ мірѣ человѣческомъ совершается невыразимое множество великихъ подвиговъ и дѣлъ, которыя свидѣтельствуютъ о присутствіи Бога на землѣ, и рядомъ съ этимъ такое же невыразимое множество злодѣяній, которая ставятъ человѣка гораздо ниже звѣря;—видѣли бы такія радости, такое счастье, такое блаженство, что міръ показался бы намъ свѣтлымъ раемъ, и взѣстѣ съ тѣмъ такое безысходное горе, такую печаль, такія муки, что этотъ же міръ казался бы намъ ужаснѣйшимъ адомъ... Однимъ словомъ — мы бы видѣли невообразимыя теперь картины хаоса жизни и смерти, добра и зла, красоты и безобразія, высокаго и низкаго, радости и горя и проч. и проч. Но въ тоже время, чѣмъ глубже мы бы всматривались въ теченіе міровой жизни, чѣмъ внимательнѣе мы бы изучали и изслѣдовали весь ходъ ея, тѣмъ болѣе безконечно разнообразныя явленія природы группировались бы для нась въ цѣлые стройные ряды однородныхъ явлений. И если бы взоры наши могли обнять все прошедшее и все будущее, то мы бы воочию ви-

дѣли, какъ ряды эти непрерывно тянутся чрезъ всю длинную цѣнь вѣковъ прошлаго и уходитъ въ безконечную даль будущаго. Вмѣсть же съ тѣмъ мы бы видѣли, какъ въ отвлеченіи вѣчны и неизмѣнны общіе существенные признаки каждого ряда однородныхъ явлений, или, что тоже—какъ вѣчны идеи, относящіяся ко всѣмъ этимъ рядамъ однородныхъ явлений.

И такъ, общіе существенные признаки однородныхъ явлений даютъ намъ въ лицѣ понятія или идеи знаніе вѣчное и неизмѣнное. Въ третьихъ, наконецъ—эти же признаки въ лицѣ понятія или идеи приводятъ безконечное разнообразіе къ однообразію, безконечное множество къ единству. Мы уже видѣли, что какъ бы разнообразны ни были тѣ или другія явленія и какъ бы много ихъ ни было, они все-таки соединяются въ одно цѣлое—понятіе или идею, если только у нихъ общіе существенные признаки. Благодаря этому, безконечныя числомъ и разнообразіемъ своимъ явленія подводятся подъ цѣлыя опредѣленныя единицы. Еще болѣе. И единицы эти группируются въ высшія единицы, изъ которыхъ каждая заключаетъ въ себѣ большое или меньшое количество низшихъ единицъ, соединяющихся въ одно цѣлое общими имъ существенными признаками. Высшія единицы такимъ же точно образомъ группируются въ еще болѣе высшія и т. д., пока дѣло не доходитъ до самой высшей, объединяющей собою всѣ низшія. Напримеръ, нѣтъ числа живымъ существамъ, нѣтъ конца ихъ разнообразію; но всѣ они подводятся подъ цѣлыя опредѣленныя единицы, каковы понятія или идеи: человѣкъ, птица, левъ, медведь, волкъ, лисица, лошадь, овца и проч. и проч., единицы, изъ которыхъ каждая заключаетъ въ себѣ существа, соединяющіяся между собою въ одно цѣлое по своимъ общимъ существеннымъ признакамъ. Всѣмъ этимъ единицамъ общіи одни и тѣ же существенные признаки: жизнь и произвольное движеніе, и всѣ они соединяются между собою въ высшую единицу—животное. Понятія или идеи: дерево, растеніе, точно также, какъ и понятіе или идея животное, являются высшими единицами, высшими идеями, объединяющими собою много низшихъ единицъ, низшихъ идей. Всѣ эти три высшія идеи (животное, дерево, растеніе) обладаютъ одними и тѣми существенными признаками: внутренней самостоятельной силой развитія и органами, посредствомъ которыхъ эта сила выполняетъ свое назначеніе—и онѣ соединяются въ еще болѣе высшую идею—организмъ. Органическія и не органическія существа, по общему имъ существенному признаку—су-

ществованію, соединяются въ самую высшую единицу или идею—существо вообще. Но и это еще не все. Поднявшись изъ бездны разнообразія и множества до высоты однообразія и единства, обозрѣвая отсюда, какъ неограниченный властелинъ, всѣ стройные ряды міровыхъ явлений,—умъ человѣческій держать возвыситься еще до отысканія и пониманія той Высшей, Вѣчной и Единой Идеи, которая служить началомъ и конечной цѣлью всего существующаго. Отсюда и философія, взобравшись правою и неправдою на высоту обобщенія, на высоту объединенія, или даже вообразивъ себя только на этой высотѣ,—всегда старалась найти начало всего существующаго. И чѣмъ вѣрнѣе она поднималась вверхъ по низшимъ ступенямъ обобщенія, по низшимъ ступенямъ объединенія, тѣмъ больше она приближалась къ пониманію Общаго, Единаго Начала всего.

Такимъ образомъ—истинное, необходимое знаніе о мірѣ виѣшнемъ и мірѣ внутреннемъ, о явленіяхъ того и другаго міра получается путемъ пріобрѣтенія понятій или идей.

Но известно, что если бы каждый отдельный человѣкъ обладалъ только тѣми понятіями, которыя самъ пріобрѣтетъ путемъ непосредственного знакомства съ различными явленіями, то люди всегда оставались бы погруженными въ глубокомъ невѣжествѣ. Извѣстно также, что если бы каждое новое поколѣніе пользовалось лишь тѣми идеями, которыя само добудеть при непосредственномъ изученіи виѣшней и внутренней природы, то человѣчество и теперь еще стояло бы на низшей степени развитія. Дарованія людей вывели ихъ изъ мрака въ свѣтъ, подняли ихъ изъ глубины невѣдѣнія на высоту знанія, благодаря тому, что понятія одного человѣка дѣлаются достояніемъ другихъ, что идеи предѣдущихъ поколѣній завѣщаются послѣдующимъ поколѣніямъ. Нынѣшній хороший школьнікъ мудрецъ, сравнительно съ первобытнымъ философомъ. И это потому, что первый — потомокъ чрезвычайно богатыхъ познаніями предковъ, а послѣдній — сынъ нищихъ духомъ родителей. Много, много понятій или идей служать ступеньками той лѣстницы, по которой современный философъ взошелъ на вершину славы. Но сколько между этими идеями его собственныхъ и сколько такихъ, которая онъ унаследовалъ отъ предшествовавшихъ ему вѣковъ и которая онъ собралъ съ разныхъ концовъ свѣта! Да и тѣми идеями, которые составляютъ его неотъемлемую собственность, онъ обязанъ чужимъ идеямъ, обязанъ потому, что послѣднія открыли, указали и очистили ему путь къ первымъ.

Надежнымъ, вѣрнымъ и точнымъ средствомъ для усвоенія чужихъ, а вѣсть съ тѣмъ и для приобрѣтенія своихъ собственныхъ понятій или идей—служить наука. Она служитъ такимъ средствомъ потому, что собираетъ добываемыя человѣчествомъ понятія или идеи, очищаетъ ихъ отъ всякаго заблужденія и располагаетъ въ строго послѣдовательномъ порядке по той внутренней связи, по той высшей идѣѣ, которая объединяетъ ихъ въ одно неразрывное цѣлое и указываетъ имъ въ этомъ цѣломъ определенные, неизменныя мѣста. Но какъ ни важна наука для выраженія идей, она, однако, еще не совсѣмъ достаточна. Хотя сущность каждого ряда однородныхъ явлений заключается въ общихъ вѣмъ имъ основныхъ признакахъ, однако, какъ мы уже сказали выше, ни одно изъ нихъ не имѣеть дѣйствительнаго, самостоятельнаго бытія, дѣйствительной, самостоятельной жизни безъ тѣхъ особенныхъ признаковъ, которыми они отличаются другъ отъ друга. Мы и представить себѣ не можемъ, напримѣръ, дерева, которое бы обладало лишь признаками растенія и ствola. Нельзя представить себѣ животнаго, которое бы, кроме жизни и произвольнаго движенія, никакихъ другихъ признаковъ не имѣло. Словомъ—нѣть такого явленія, которое бы можно было представить себѣ съ однии только общими существенными признаками, безъ всякихъ особыхъ признаковъ. Если общіе существенные признаки и являются для настъ самостоятельнымъ цѣльнымъ,—понятіемъ или идеей, то лишь въ отвлеченіи, въ умѣ; на самомъ же дѣлѣ такого самостоятельнаго цѣлаго нѣть. Поэтому ни одна идея сама по себѣ не представляетъ намъ тѣхъ явленій, къ которымъ относится. И даже чѣмъ болѣе она отрѣшается отъ этихъ послѣднихъ, чѣмъ болѣе она отдѣляется отъ нихъ, тѣмъ она совершиеннѣе, какъ идея, какъ самостоятельная отвлеченная единица. Отсюда—ту или другую идею, не смотри на всю ея отвлеченность, видѣть, однако, воочію только тотъ, кто самъ усмотрѣлъ ее въ живыхъ явленіяхъ природы; та или другая идея дѣйствуетъ на всѣ душевныя силы лишь того, кто непосредственно наблюдалъ и изучалъ явленія, на основаніи которыхъ она составлена. Что же касается другихъ людей, то многіе изъ нихъ совсѣмъ мало понимаютъ ее, а тѣ, которые болѣе или менѣе достаточно ее понимаютъ, все-таки не видятъ ея живой, проникающей собою цѣлый рядъ дѣйствительныхъ явленій, и она занимаетъ только ихъ умъ, но не возбуждаетъ, не трогаетъ ихъ чувства и воли, или по крайней мѣрѣ, очень мало возбуждаетъ и трогаетъ. Между тѣмъ—наука заботится

только о вѣриой передачѣ, о точномъ выражениѣ идей, но ей мало дѣла до того—живо ли, или нѣть представляемъ себѣ явленія, отъ которыхъ данныи идеи получены. Правда — наука часто спускается въ дѣйствительную, живую область явленій и черпаетъ оттуда примѣры для разъясненія идей, которыя она сообщаетъ. Но и въ самыхъ примѣрахъ этихъ наука со средоточивается только на существенныхъ признакахъ, такъ что она, во всякомъ случаѣ, главнымъ образомъ, преимущественно держится, обитаетъ на высотѣ отвлеченія. И вотъ является на помощь поэзія. Поэзія воплощаетъ идею въ художественный образъ, который служить живымъ, нагляднымъ выразителемъ ея, такъ что она является для всѣхъ очевидной, дѣйствуетъ на всѣ стороны нашего существа и воспринимается всѣми силами нашей души. Въ этомъ образѣ существенные признаки, общіе всѣмъ явленіямъ извѣстнаго рида и служащіе какъ бы ихъ душою, органически соединяются съ особенными, индивидуальными признаками, которые сообщаютъ тому или другому изъ данныхъ явленій плоть и кровь. Но тутъ сейчасъ же останавливаетъ насъ слѣдующій вопросъ: не скорѣе ли этимъ поэзія разрушаетъ, чѣмъ воплощаетъ идею? Длинный путь нужно пройти, чтобы добраться до идеи о тѣхъ или другихъ однородныхъ явленіяхъ. Необходимо замѣтить, выдѣлить эти явленія среди безчисленного множества другихъ явленій; необходимо различить ихъ общіе существенные и особенные индивидуальные признаки, отдѣлить первые признаки отъ послѣднихъ и соединить ихъ въ одно цѣлое. А поэзія, опять смѣшивая общіе существенные признаки съ признаками особенными, индивидуальными, уничтожаетъ всю эту работу и, вместо идеи о цѣломъ рядѣ однородныхъ явленій, даетъ намъ только концо одного изъ этихъ явленій. Но, во-первыхъ, всякое дѣйствительное явленіе, обладаетъ такимъ множествомъ особенныхъ признаковъ и такимъ, наоборотъ, незначительнымъ количествомъ общихъ существенныхъ признаковъ, что для простаго глаза первые сплошь да рядомъ совершенно заслоняютъ собою послѣдніе. Поэзія же, воплощаю ту или другую идею, береть для этого не всѣ особенные признаки дѣйствительнаго явленія, а только тѣ изъ нихъ, въ которыхъ отражается идея и которые проникаются ею. Положимъ, нужно олицетворить идею скучаго человѣка. Для этого слѣдуетъ показать, какъ онъ живеть, есть, пить, занимается, разсуждаетъ, сходится съ различными людьми, относится къ своимъ домашнимъ и проч. и

проч. На самомъ дѣлѣ во всѣхъ данныхъ проявленияхъ жизни и дѣятельности скучаго человѣка, рядомъ съ частностями, отражающими въ себѣ основную черту его характера, можно замѣтить множество такихъ частностей, которыхъ ничего общаго съ этой основной чертой его не имѣютъ. Но поэзія представляетъ лишь тѣ частности, въ которыхъ такъ или иначе отражается основная черта характера и которыхъ такъ или иначе окрашиваются ею. Во-вторыхъ, оставляя безъ вниманія тѣ особенные признаки, въ которыхъ не отражается воплощаемая идея, поэзія, наоборотъ, беретъ какъ можно болыше тѣхъ особыхъ признаковъ, которые отражаютъ въ себѣ эту идею, хотя постѣдникъ и не встрѣчается, или, по-крайней-мѣрѣ — чрезвычайно рѣдко встрѣчается столько въ одномъ и томъ же дѣйствительномъ явленіи. Въ-третьихъ, всѣ эти особенные, индивидуальные признаки, а вмѣстѣ съ тѣмъ и отражающіеся въ нихъ общіе существенные признаки поэзія представляетъ въ такой сильной степени, въ какой на самомъ дѣлѣ они не встречаются, или же встречаются, но только какъ самая замѣтительная рѣдкость. Для подтвержденія всего此刻ь сказанного о поэзіи, обратимся къ нашимъ великимъ, бессмертнымъ художникамъ — поэтамъ: Пушкину и Гоголю — и посмотримъ, какъ они олицетворяютъ идею скучности. Въ жизни изображаемыхъ ими для этого лицъ они показываютъ лишь такие случаи, которые, подобно фокусу, отражаютъ въ себѣ олицетворяемую идею, а именно — скучность, какъ страсть, порабощаетъ всѣ душевныя силы человѣка, всѣ его лучшія мысли, чувства и желанія. За то этихъ случаевъ оба поэта представляютъ столько и въ такомъ видѣ, что мы едва ли встрѣчаемъ въ дѣйствительности такихъ нравственныхъ уродовъ, какими являются созданныя нашими художниками лица — однимъ — комическое, поплое, другимъ — колоссально-ужасное. Но если при воплощеніи, олицетвореніи идеи, общей всѣмъ однороднымъ явленіямъ, поэзія беретъ не всѣ особенные признаки того или другаго изъ нихъ, ссли такія явленія и лица, какія создаетъ поэзія, встречаются въ дѣйствительности только самымъ рѣдкимъ исключеніемъ, даже, можетъ быть, совсѣмъ не встрѣчается, — то невольно возникаютъ новые вопросы: не односторонни ли созданія поэзіей явленія и лица? естественны ли они и правдоподобны? Созданныя поэзіей явленія и лица, отвѣчаемъ мы на первый вопросъ — не односторонни. Представляя только тѣ особенные признаки, только тѣ частности, въ которыхъ такъ или иначе отражается общая идея,

истинный поэт-художникъ въ то же время такъ искусно поднимаетъ завѣсу, что мы видимъ изображаемое явленіе, выводимое на сцену лицо съ разныхъ сторонъ. Обратимся опять къ Пушкину и Гоголю. Мы уже сказали, что изъ жизни представленныхъ ими лицъ они приводить лишь таія частности, въ которыхъ отражается окладывшая этими лицами страсть. Однако, при этомъ же, наши художники артистически освѣщаются и другія черты своихъ героевъ, даютъ намъ возможность видѣть и прочія движенія ихъ души, слышать и иной голосъ ихъ сердца. Все время, какъ видимъ предъ собою скупаго рыцаря, мы поражены, подавлены его ужасной личностію. Страсть съ безиощадной жестокостію губить въ немъ человѣческое достояніе, разрушаеть дарованную ему небомъ свитыню и превращаетъ его въ демона, въ страшное чудовище. Но тутъ же на поверхность души его вспыхиваютъ и добрыя воспоминанія о дружескихъ отношеніяхъ, существовавшихъ между нимъ и покойнымъ герцогомъ. Баронъ, не смотря на свои преклонныя лѣта, изъ чувства преданности къ герцогу, готовъ „дрожащей рукой обнажить мечъ“. Баронъ совершенно должно понимаетъ рыцарскую честь, но насколько онъ ее понимаетъ, онъ горячо встукается за нее. Чувство гадливости, чувство глубокаго презрѣнія вызывается у насъ отвратительной, пошлой личностью Плюшкина. Страсть до того обезличила, обезобразила его, что онъ, по выраженію автора, „обратился въ какую-то прорѣху на человѣчество“. Но при этомъ же самомъ въ душѣ Плюшкина шевелится и тревожитъ его мысль о томъ, что нужно Чичикова принять и угостить, хотя, поработленный скучостію, послѣдняго сначала и не думаетъ привести въ исполненіе. Затѣмъ, подогрѣтый чувствомъ благодарности, Плюшкинъ уже готовъ и угостить Чичикова. Правда, нужно быть чуждымъ всякой брезгливости, нужно ужъ очень страдать отъ голода, чтобы воспользоваться угоженіемъ, подобнымъ тому, какое Плюшкинъ хотѣлъ предложить Чичикову. Но для Плюшкина такое угоженіе казалось роскошью, настоящимъ пиromъ. Изъ чувства благодарности, Плюшкинъ думаетъ даже подарить Чичикову серебряные часы. Скучность мѣшаетъ Плюшкину осуществить это, но онъ все-таки остается при той мысли, что откажетъ Чичикову часы въ духовномъ завѣщаніи. Эти же, сейчасъ приведенные два факта вмѣстѣ съ тѣмъ показываютъ, насколько прекрасное чувство благодарности еще доступно для Плюшкина, — показываютъ, что въ темной душѣ его можетъ еще мелькнуть хоть маленькая искорка, что въ холодномъ, застывшемъ

шемъ сердцѣ его можетъ еще вспыхнуть хоть слабый огонекъ. Плюшкинъ оживляется воспоминаніями о своемъ школьнномъ товарищѣ, и въ это время, на деревянномъ лицѣ, Плюшкина „скользить какой то теплый лучъ“.—Созданныя поэзіей явленія и лица—отвѣчаемъ мы теперь на второй вопросъ—вполнѣ естественны и правдоподобны. Если бы дѣйствительность и не давала намъ въ такой степени прекрасныхъ или уродливыхъ явленій и лицъ, то это объяснялось бы лишь тѣмъ, что въ жизни человѣка и міра вообще участвуютъ различныя, противоположныя причины. Но совершенно возможно, чтобы относительно жизни и развитія извѣстнаго лица или явленія однѣ причины и по количеству своему и по качеству получили перевѣсъ надъ другими. Всъ такую-то возможность и представляеть поэзія. Она показываетъ, какъ существенные признаки, общіе цѣлому ряду явленій, могутъ при извѣстныхъ условіяхъ достигнуть въ томъ или другомъ изъ нихъ такой-то степени развитія. И жизнь представленнаго поэзіей явленія, лица идетъ и развивается по тѣмъ же самымъ естественнымъ законамъ, по какимъ въ дѣйствительности идетъ и развивается жизнь людей и явленій природы. Стоитъ только выслушать монологъ барона (въ Скуп. рыц.), чтобы понять, какъ гордый рыцарь, оскорблѣнныи надобѣдившими, назойливыми, грубыми заимодавцами, рѣшается сначала ограничить свою расточительность и коштить золото, съ цѣлью избавиться отъ униженій, но какъ онъ потомъ постепенно увлекается золотомъ, пока совершенно не склоняется съ той ужасной мыслью; что послѣднему все подчиняется—и безсонный трудъ и вольный гений, и даже добродѣтель, что оно одно даетъ силу, могущество и власть не только надъ міромъ вѣшнимъ, но и надъ міромъ внутреннимъ,—увлекается до того, что всецѣло порабощается имъ, считаетъ его своимъ божествомъ и поклоняется ему, какъ божеству. Стоитъ только прочитать біографію Плюшкина, чтобы видѣть, какъ обстоятельства, особенно вліянія на его характеръ, постепенно превратили его изъ бережливаго хозяина, какихъ очень, очень много встрѣчаемъ въ жизни, въ невиданнаго, неслыханнаго скрягу, постепенно довели его до крайней степени ничтожности, мелочности и гадости. И мы имѣемъ теперь полное право заключить нашу рѣчь о поэзіи стѣдующимъ: поэзія передаетъ идею въ живомъ образѣ, который освѣщаетъ всѣ явленія, обнимаемыя данной идеей, яркимъ, истиннымъ свѣтомъ; который отмѣчаетъ собою, дѣлаетъ нагляднымъ, очевиднымъ ихъ значеніе и сущность; съ ко-

торымъ каждое изъ нихъ болѣе или менѣе сходно въ главномъ существенномъ; отъ котораго, кажется, они исходятъ, подобно лучамъ отъ солнца, и въ которомъ всѣ они объединяются, какъ бы въ лицѣ资料 своего общаго предка. Отсюда—всякій такой образъ, созданный поэзіей, носить название типа, название, заимствованное изъ греческаго языка и получившее начало въ словѣ турто—бью, ударию, оттуда и отмѣчаю, а вслѣдъ затѣмъ и въ производномъ отъ глагола турто существительномъ турос—видъ, первообразъ. Въ типичномъ лицѣ, представляемомъ поэзіей, узнаетъ себя всякий, кто обладаетъ тѣми чертами, тѣми признаками, которые составляютъ воплощенную въ этомъ лицѣ идею,—узнаетъ себя даже тогда, когда признаки эти проявляются въ данномъ лицѣ несравненно сильнѣе, ярче. И какъ это благотворно! Человѣкъ часто не замѣчаетъ своего нравственного недуга, а если и замѣчаетъ, то все-таки остается равнодушнымъ къ этому. Но онъ содрогается, приходитъ въ ужасъ, видя себя хоть отчасти въ крайне отвратительномъ образѣ, лицѣ, видя вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ низко онъ можетъ упасть, если только будетъ поддаваться своей страсти. Точно также и наоборотъ. Человѣкъ часто не обращаетъ должнаго вниманія на свои прекрасныя способности и не пользуется ими, какъ слѣдуетъ, ни для себя, ни для другихъ. Но онъ перерождается, оживаетъ духомъ, воспламеняется энергией и встаетъ для новой—полезной ему и другимъ—жизни и дѣятельности, видя себя хоть очень смутно въ благородной, высокой личности, видя, на какую нравственную высоту можетъ онъ подняться, если только будетъ развивать и эксплуатировать свои богатыя дарованія.

Выяснивъ сущность поэзіи и отличие ея отъ науки, мы можемъ теперь показать разницу между историческимъ изложеніемъ какогонибудь события и поэтическимъ изображеніемъ его. Исторія, какъ наука, излагаетъ события прошлой жизни того или другаго народа въ строго послѣдовательномъ порядке по ихъ внутренней, необходимой связи, по той высшей идеѣ, которая объединяетъ ихъ въ одно органическое, живое цѣлое. Исторія такимъ образомъ опредѣляетъ мѣсто каждого события въ длинной цѣни другихъ событий, выясняетъ связь его съ предыдущими и послѣдующими событиями, показываетъ, какъ оно вытекаетъ изъ первыхъ и, въ свою очередь, влияетъ на послѣднія. При всемъ этомъ исторія, само собою разумѣется, приводить и разматриваетъ тѣ частные факты и явленія, изъ которыхъ слагаются передаваемыя ею события. Но она приво-

дить и разматриваетъ лишь тѣ явленія и факты, которые служатъ существенными признаками данныхъ событий, и сосредоточивается на этихъ явленіяхъ и фактахъ лишь настолько, насколько они служать такими именно признаками. Она собираетъ только существенные признаки событий, чтобы передать вѣрныя и точныя понятія или идеи о нихъ, показать тѣмъ постепенный ростъ, постепенное развитіе данного народа и выяснить истинныя причины, истинный начало этого роста, этого развитія. Но если исторія воздѣлывается лишь на существенныхъ признакахъ событий, если она всегда стремится только къ идеѣ постѣднаго, то она не дастъ намъ живаго, нагляднаго представлѣнія о немъ и самую идею его сообщаетъ въ отвлеченномъ видѣ. Сосредоточиваясь на приводимыхъ фактахъ и явленіяхъ лишь настолько, насколько они служать существенными признаками событий, исторія показываетъ намъ однѣ блѣдныя тѣни этихъ фактовъ и явленій. Приводя только тѣ явленія и факты, которые служать существенными именно признаками событий, исторія показываетъ намъ еще болѣе блѣдную тѣнь самого события. Да и отъ этихъ блѣдныхъ тѣней она старается оторвать насъ и унести въ даль, въ высь отвлеченія, гдѣ обитаетъ идея. Но туда поднимаются только тѣ люди, которые уже болѣе или менѣе привыкли къ обобщенію, къ отвлеченію. Только тѣ болѣе или менѣе видятъ, что показываетъ событие, только тѣ болѣе или менѣе слышатъ, что говорить его идея. Другие же люди, кромѣ блѣдныхъ тѣней, которыхъ мелькаютъ предъ ихъ глазами, едва ли что видѣтъ и слышатъ. Но и возвышающіеся умомъ своимъ до идеи событий не видятъ воочию тѣхъ замѣчательныхъ фактовъ и явленій прошлаго, которые бы подействовали на всѣхъ душевныя силы; не становятся лицомъ къ лицу съ тѣми историческими дѣятелями, которые бы всецѣло привлекли ихъ къ себѣ своими великими подвигами, или совершенно оттолкнули отъ себя своими возмутительными преступленіями. Не воспламеняется душа, не трепещетъ сердце восторгомъ или негодованіемъ, при отвлеченномъ взгляде на этихъ историческихъ дѣятелей. Лишь холодное одобрение или порицаніе воздается имъ памяти. И вотъ поэзія и въ данномъ случаѣ является на помощь. Поэзія, какъ частные факты и явленія, изъ которыхъ слагается известное событие, такъ и самое событие это передаетъ въ живыхъ картинахъ, въ яркихъ художественныхъ образахъ. Поразительные факты и явленія прошлаго такъ и стоять въ поэзіи предъ нашими глазами, такъ и действуютъ на всю нашу душу,

такъ и трогаютъ все наше сердце. Выдающіеся историческіе дѣятели являются предъ нами въ поэзіи во всемъ своемъ свѣтѣ. Мы видимъ удивительныя черты ихъ лица, замѣчаемъ сильныя волненія ихъ души, слышимъ бурныя тревоги ихъ сердца. Они своимъ нравственнымъ величиемъ, своей самоотверженной преданностю вѣчной любви, вѣчной правды, своимъ неуклоннымъ служепіемъ идеѣ истины и добра приковываютъ насъ къ себѣ, воодушевляютъ насъ къ подражанію ихъ жизни и дѣламъ, возбуждаютъ лучшія силы нашего духа и освѣщаютъ нашъ внутренній міръ отраднымъ свѣтомъ; или же своимъ эгоизмомъ, своей жестокостію, безчеловѣчностію, своимъ попираниемъ божескихъ и человѣческихъ правъ, обдаютъ насъ ужасомъ, приводятъ въ крайнее негодованіе, винчаютъ намъ по отношенію къ себѣ болѣйшее отвращеніе и заставляютъ содрогаться при мысли походить на нихъ. А вмѣстѣ со всѣмъ этимъ поэзія воплощаетъ, олицетворяетъ для насъ и идею событія. Однимъ словомъ—поэзія является для передачи историческихъ идей то же могучей, живой и понятной вѣщательницей, какой она является для передачи прочихъ ідей. Правда, уже и художественная история разстилаетъ предъ нами прошлое въ наглядныхъ картинахъ, показываетъ событія въ яркихъ образахъ, представляетъ лица во всемъ ихъ живомъ ростѣ, во всей ихъ нравственной величинѣ. Но, во-первыхъ, самое название *художественной* показываетъ, что такая история—родная сестра поэзіи. Во-вторыхъ, оставаясь исторіей, хотя и художественной, она не обладаетъ такой широкой, свободной кистью для изображенія прошлаго, для живоющіи событій и лицъ, какой обладаетъ поэзія. Исторія обязана представить прошлое такъ, какъ оно было въ дѣйствительности. Поэтому она строго и тщательно должна провѣрить всѣ памятники, добываемые ею, и можетъ пользоваться лишь тѣми изъ нихъ, которые при разборѣ и опѣнкѣ оказались совершенно достовѣрными. Подложными памятниками, даже только сомнительными—исторія не имѣть права пользоваться. Тѣмъ же менѣе имѣть она право сама созидать факты, сама творить лица, или къ достовѣрнымъ фактамъ отъ себя прибавлять различныя подробности, дѣйствительныя лица дорисовывать вымыщленными чертами, хотя бы все это и необходимо было для дополненія картины прошлаго, для болѣе наглядного представленія событій, для лучшей, художественнѣйшей характеристики историческихъ дѣятелей. Желая ярче, живѣе представить прошлое, исторія можетъ лишь дѣлать различные, болѣе или менѣе вѣроятныя пред-

положенія, по она обязана отгнинть и высказать ихъ именно какъ только предположенія. Между тѣмъ — много, много драгоценныхъ подробностей того или другаго событія уносить съ собою время и не оставляеть ни малѣйшаго следа, по которому бы можно было отыскать ихъ. Но сколько свѣта, сколько жизни придаєтъ событію даже одна какая нибудь подробность. Одинъ, прибавлениій живописцемъ штрихъ, перѣдко освѣщаетъ, одухотворяетъ, оживляетъ всю картину. Слѣдовательно, исторія, будь она даже художественная, за недостаткомъ матеріала, очень часто лишена возможности представить полную, паглядную картину того или другаго событія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и воцюлотить въ живой образѣ идею этого событія. Поэзія же, не находя въ пропломъ нужныхъ ей подробностей, властна сама изобрѣтать факты, созидать лица, дѣйствительные факты дополнять подробностями своего собственнаго произведения, историческія лица освѣщать чертами своего собственнаго творчества. Она обязана только въ данномъ случаѣ, какъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ, заботиться о томъ, чтобы жизнь и развитіе всего созданного ею совершалась по тѣмъ естественнымъ законамъ, по какимъ въ дѣйствительности совершается жизнь и развитіе міра и человѣка. Какъ всегда, такъ и теперь поэзія обязана соблюдать, чтобы явленіе, которое она изобрѣтаетъ, возможно было вообще въ дѣйствительности, возможно было, кромѣ сего, въ томъ мѣстѣ и въ то время, къ которымъ пріурочивается; чтобы лицо, которое она создаетъ, вообще естественно было физически и психически, естественно было въ частности въ ту эпоху, среди той національности, того общества, къ которымъ относится. Вмѣстѣ же съ тѣмъ, дополнія, дорисовывая историческіе факты и лица новыми подробностями, новыми чертами, поэзія должна заботиться, чтобы эти подробности, эти черты были естественны, правдоподобны сами по себѣ и, съ єрхъ того, вполнѣ гармонировали съ остальными подробностями, съ остальными чертами данныхъ фактovъ и лицъ. Если бы, напримѣръ, вместо могучаго героя, полнаго кипучей жизни, рѣшимости, горящаго четырнадцати сражаться за отечество, воодушевляющаго своимъ необыкновеннымъ мужествомъ все войско, Пушкинъ представилъ Петра Великаго, колеблющимся предъ началомъ генеральной Полтавской битвы, мятельнымъ, плачущимъ о грѣхахъ, просящимъ у подданныхъ прощенія; то, будь это въ высшей степени прекрасно изображено, все-таки возмутило бы чувство правдивости, какъ рѣзко противорѣчашее всеному, что сообщается исторіей о колоссальной личности Петра I.

И вѣтъ, согласно съ сейчасъ указанной мгненію поэзіи въ дѣлѣ распространенія историческихъ идей, и папть великой поэзіи представить во всемъ сѣвѣрѣ, во всемъ блескѣ прошлую жизнь запорожцевъ, воплотить и олицетворить идею запорожскаго казачества. Онъ собрать и вновь создать всѣ пушкины для этого подробности и лица. Созданныя имъ подробности и лица дышать жизнью, правдой. Нужно быть геніемъ, чтобы достойнымъ образомъ воспѣть генія. Нужно быть художникомъ-поэтомъ, чтобы передать всѣ тѣ красоты, всѣ тѣ дивныя прелести, которыми блеститъ, сияетъ поэзія „Тараѣтъ Бульба“ отъ начала до конца. Какъ чаѣто въ ней— что ни слово — то образъ, что ни періодъ, то картина. Каждое лицо — живой типъ; каждая глава — цѣлая область жизни природы и человѣка. Сколько въ этой повѣсти такихъ высокихъ, такихъ торжественныхъ мѣстъ, отъ которыхъ вѣтъ библейскимъ духомъ, которая вырываются нась изъ нашей обычной среды и уносятъ въ какой то чудный, обаятельный міръ. Какимъ величіемъ поражаетъ нась вся повѣсть! Мы отмѣтимъ только болѣе крупные пункты того, что сдѣлалъ Гоголь для поэтическаго выраженія идеи о запорожскомъ казачествѣ. А именно: повѣсть „Тараѣтъ Бульба“ показываетъ памъ въ высшей степени живописныя, волшебныя картины украинской природы. Предъ нами разстилается та „безконечная, вольная, прекрасная степь“, которая возлеется рицарей съ такой широкой патурой, съ такимъ свободнымъ, могучимъ духомъ. Въ повѣсти наглядно изображается Сѣчь, и мы какъ бы своими собственными глазами видимъ „гнѣздо, откуда вылѣтаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы, — откуда разливается воля и казачество на всю Украину“. Мы присутствуемъ на замѣчательныхъ собраніяхъ Запорожцевъ, слышимъ ихъ оригинальныя согѣщанія. Мы переносимся на мѣсто браніи; намъ представляются, характеризующіе собою запорожское и польское войско, видъ и устройство того и другаго; видимъ жестокость, безчеловѣчность поляковъ и запорожцевъ, становимся свидѣтелями храбрости, мужества первыхъ, восторгаемся доблѣстью, подвигами, геройствомъ постѣдніхъ. При всемъ томъ авторъ знакомитъ нась со многими отдельными лицами, заставляя ихъ самихъ говорить и дѣйствовать. Авторъ знакомитъ нась такимъ образомъ не только съ запорожцами, но и съ поляками и съ жидами, которые имѣли такое или иное отношеніе къ запорожцамъ. Главный же поэтическій пріемъ Гоголя для передачи идеи о запорожскомъ казачествѣ, состоитъ въ томъ,

что онъ олицетворилъ ее въ Тарасѣ Бульбѣ, который служить самыи блестящимъ типомъ запорожцевъ, въ которомъ вѣрь хорошия и дурния черты постѣдніхъ находятъ свое полное развитіе, свое полное выраженіе. Тарасъ обетавшій всѣми подробностями; всѣми лицами, какія только нужны для полнаго, всестороннаго пониманія и олицетворенія въ немъ идеи. Около Тараса Бульбы группируются всѣ разказанныя въ повѣсти факты и событія, почему постѣднія и называются его именемъ.

Мы, поэтому, главнымъ образомъ и познакомимся съ личностью Тараса. Что же касается другихъ лицъ и подробностей, то мы ихъ лишь частично разсмотримъ, насколько это нужно будетъ для того, чтобы освѣтить личность Тараса, представить олицетворенію въ немъ идею и показать ея художественное выраженіе.

Первое, что пасть поражаетъ въ Тарасѣ, это встрѣча его съ сыновьями, которые приѣхали къ нему, по окончаніи курса въ Киевской Бурсѣ. Мысленно присутствуя при этой встрѣчѣ, мы ожидаемъ, что Тарасъ, какъ отецъ, обниметъ своихъ дѣтей, приголубитъ ихъ, приласкаетъ. Но, вмѣсто всего этого, Тарасъ смеется надъ ихъ длинными свитками и надъ ними самими. Это еще ничего. Старшій сынъ Тараса—Остапъ, чувствуя себя оскорблѣннымъ пасмѣшками отца, грозить послѣднему, что поколотитъ его, если только онъ не перестанетъ смеяться. Тарасъ удивленъ дерзостью сына, но только на минуту. Быстро мѣняются мысли у Тараса, и онъ действительно предлагается сыну дратиться. „И отецъ съ сыномъ—говоритъ авторъ—вмѣсто привѣтствія послѣ давней отлучки стали насаживать другъ другу тумаки и въ бока, и въ поясницу и въ грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая“. Этого мало. Чувствуя усердные и сильные кулаки Остапа, Тарасъ приходитъ въ прекрасное расположение духа и по отцовски цѣлуетъ съ сыномъ. Тарасъ даже, напротивъ, недоволенъ тѣмъ, что его не угощаетъ своими кулаками младшій сынъ — Андрей, почему и не цѣлуется съ этимъ послѣднимъ. Пожалуй, вся эта сцена можетъ показаться намъ неестественнай, придуманной авторомъ для одной лишь забавы читателя. Но стоитъ только вникнуть во внутренний смыслъ данной сцены, чтобы видѣть всю ея глубокую, психологическую правду. Тарасъ весь вѣкъ свой только тѣмъ и жилъ, тѣмъ и дышалъ, только то и дѣлалъ, что съ самоотверженіемъ, храбро, мужественно сражался за Православную Вѣру и за братство по вѣрѣ. Понятное дѣло, Тарасъ проникнуть

желаниемъ, чтобы и его соотечественники, исповѣдующіе одну сть-  
нимъ вѣру, а тѣмъ болѣе его собственныя сыновья, были ревност-  
ными, самоотверженными, мужественными защитниками той же  
идей, которая наполняетъ собою всю его жизнь. Отсюда—перено-  
сясь къ будущему своихъ сыновей, Тарасъ всегда думалъ о нихъ,  
какъ о славныхъ, ловкихъ казакахъ. Особенно же такъ думаетъ  
онъ о нихъ теперь, когда видитъ ихъ уже взрослыми, цѣ-  
тущими жизнью и здоровьемъ, когда имъ предстоитъ уже казацкое,  
рыцарское служеніе. Между тѣмъ — длинная одежда ихъ, похожая  
на священнические подрясники, должна мѣшать ловкости и быст-  
ротѣ движений, необходимымъ въ ратномъ дѣлѣ казака-рыцаря. Вотъ  
этотъ-то контрастъ между господствующей мыслию Тараса о своихъ  
сыновьяхъ и внѣшнимъ видомъ ихъ одежды — и вызываетъ у него  
насмѣшки. Опять и говорить имъ: „А побѣги который нибудь изъ  
васъ! я посмотрю, не испленится ли онъ на землю, запутавшись  
въ полы“. Остапъ не понимая, что происходитъ въ душѣ Тараса,  
зная, что не самъ онъ — Остапъ — выбралъ себѣ такую одежду,  
помня, кромѣ того, всѣ свои подвиги во время бурсацкой жизни,  
когда эта же одежда нисколько не стѣсняла его,—естественно скор-  
бляется насмѣшками отца вообще и послѣднимъ его замѣчаніемъ  
въ особенности. Въ школьнай, товарищеской жизни Остапа, какъ  
и въ жизни всѣхъ казаковъ, всякий протестъ обыкновенно выра-  
жался кулакомъ. Такимъ же образомъ и Остапъ собирается выска-  
зать отцу свой протестъ. Тарасъ сначала удивляется тому, что  
Остапъ готовъ поколотить его. „Какъ! батька!“ восклицаетъ Тарасъ.  
Но послѣ словъ Остапа: „Да хоть и батька. За обиду не посмотрю  
и не уважу никого“, Тарасъ, можетъ быть, чувствуетъ, что дѣй-  
ствительно обидѣлъ Остапа, что въ этомъ случаѣ послѣдній, ко-  
нечно, долженъ постоять за себя такъ именно, какъ онъ и думаетъ  
постоять, — а то какже иначе? — Тарасъ, можетъ быть, доволенъ  
тѣмъ, что Остапъ такъ чутокъ къ своей обидѣ, такъ горячо всту-  
паются за нее, что Остапъ никому не намѣренъ спустить оскор-  
бленіе,—доволенъ, что видитъ въ Остапѣ самого себя,—во всякомъ  
случаѣ хочетъ узнать — такъ ли Остапъ храбръ, ретивъ и силенъ  
на дѣлѣ, какъ на словахъ, хочетъ узнать, что за казакъ, что за  
рыцарь Остапъ, и чего можно ожидать отъ него для вѣры и отчи-  
зы. И когда Тарасъ убѣждается, что Остапъ отлично дерется,  
что Остапъ „добрый будетъ казакъ“, то умиляется духомъ, потому  
что видитъ въ своемъ сыне будущаго славнаго борца того святаго

дѣла, за которое онъ самъ каждую минуту готовъ жертвовать жизнью. Поэтому же самому Тарасу досадно, что младшій сынъ не доставилъ ему такого высокаго нравственнаго удовольствія, какое доставлялъ старшій. Такимъ образомъ какъ ни комична, повидимому, вся разсмотрѣнная нами сцена, въ ней, на самомъ дѣлѣ, кроется глубокій смыслъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ ни представляется намъ въ этой сценѣ Тарасъ смѣшнымъ, понять то, что руководить емъ въ данномъ случаѣ, мы волею-неволею чувствуемъ къ нему симпатію и уваженіе.

За тѣмъ, Тарасъ кажется намъ жестокимъ. Онъ не трогается безпредѣльнымъ горемъ матери, отнимаетъ у нея дѣтей прежде, чѣмъ она, постѣ долгой разлуки съ пими, успѣла хорошенко по-глядѣть на нихъ, полюбоваться ими, и увозить ихъ въ Сѣчь, увозить туда, откуда, очень можетъ быть, они ужъ болѣе никогда не вернутся къ пей. Но эта жестокость Тараса объясняется слѣдующимъ. Главной цѣлью всей жизни Тараса—защита православія и православныхъ христіанъ. Отсюда—жена для Тараса лишь настолько имѣеть серьезнаго, правственнаго изначенія, насколько она мать будущихъ защитниковъ вѣры и всѣхъ кровныхъ по вѣрѣ. Можетъ ли-же она въ такомъ случаѣ препятствовать отѣзду сыновей въ Сѣчь, гдѣ имъ необходимо приготовиться къ своему великому рыцарскому служенію, откуда вмѣстѣ съ тѣмъ имъ и предстоитъ отправиться на это самое служеніе? Понятное дѣло—нѣты! Иначе—значило бы, что небочное, неважное, второстепенное стало помѣхой главному, важному, первостепенному. Слѣдовательно—видимая жестокость Тараса неизбѣжно вызывается той высокой, святой мыслю, которая всегда господствуетъ въ его душѣ, царить въ его сердцѣ. Кроме того, рядомъ съ жестокостю Тараса въ отношеніи жены видимъ и хорошия, мягкия черты его характера. Тарасъ дѣлаетъ торжественнымъ послѣдній моментъ прощанія сыновей съ матерью: говорить женѣ, чтобы она благословила своихъ дѣтей, а имъ велить подойти къ ней и получить благословеніе. Тарасъ считаетъ для нихъ это благословеніе самымъ дорогимъ нашутствіемъ и вообще чрезвычайно важнымъ, спасительнымъ. „Молитва материнская—говорить онъ—и на водѣ, и на землѣ спасаетъ“. Тарасъ—желѣзный, закаленный Тарасъ—смущенъ пѣвѣразимой скорбю своей жены, хотя и старается этого не показывать.

Далѣе — отношенія Тараса къ кошевому повидимому представляютъ намъ первого далеко не въ привлекательномъ свѣтѣ. Та-

расъ настаиваетъ, чтобы запорожцы погуляли во владѣніяхъ султана. Кошевої говоритьъ, что этого нельзя сдѣлать, потому что казаки имѣемъ Православной Вѣры клялись султану жить съ пимъ въ мирѣ. Но Тарасъ не обращаетъ на это никакого вниманія. Стало быть, для Тараса ничего не значитъ — нарушить клятву, данную имѣемъ Православной Религіи. Мало этого! Видя, что кошевої твердо остается при своемъ, Тарасъ тайно лѣститъ ему и доводить дѣло до того, что казаки лишаютъ его сана кошеваго. Такимъ образомъ, Тарасъ ведетъ недостойную интригу противъ человѣка лишь за то, что этотъ послѣдний желаетъ свято сохранить слово, данное имѣемъ Христовымя. И для какой цѣли все Это дѣлается? Для того, чтобы дать Запорожцамъ возможность погулять, — не защищать угнетенныхъ христіанъ, не ратовать за правое дѣло, а только погулять. Но если глубже вникнемъ въ дѣло, то увидимъ, что и въ данномъ случаѣ Тараса оправдываетъ, Тарасомъ руководить та — великая, святая идея, которая управляетъ всѣми его мыслями, всѣми его чувствами, всѣми его дѣйствіями. Тарасъ совершенно справедливо признаетъ необходимымъ для молодыхъ, ни разу еще не видавшихъ войны, казаковъ — упражняться въ ратномъ искусствѣ. Но „Сѣчь“ — говорить авторъ — не любила затруднять себя военными упражненіями и терять время: юношество воспитывалось и образовывалось въ пей однимъ опытомъ, въ самомъ пылу битвъ“. Отсюда — подъ словомъ „погулять“ Тарасъ разумѣеть ту военную подготовку, безъ которой не мыслимо самое служеніе казаковъ дѣлу Православія и православныхъ христіанъ. А сохранять миръ съ султаномъ, потому что клялись ему Православной Вѣрой, значить, по мнѣнію Тараса, наложить на себя руки, отказаться отъ первой, главной цѣли всей своей жизни, значитъ исполнить клятву, данную во имя Православія разрушать и уничтожать Православіе же. Поэтому-то Тарасъ и возражаетъ кошевому слѣдующими словами: „Такъ стало быть слѣдуетъ, чтобы прощадала даромъ казацкая сила, чтобы человѣкъ египтуль, какъ собака, безъ добра го дѣла, чтобы ни отчизнѣ, ни всему христіанству не было отъ него никакой пользы? Такъ на что же мы живемъ, на какого черта мы живемъ? растолкуй ты мнѣ это. Ты человѣкъ умный, тебя не даромъ выбрали въ кошевые; растолкуй мнѣ, на что мы живемъ“. Да, пожалуй, па взглѣдъ Тараса, клятва, которая дана султану, противу законна не только по своимъ послѣдствіямъ, но и по самой сущности своей; она дана басурману, а по искреннему убѣждѣнію Тараса, „и Богъ, и Святое писаніе

великъ бить басурмановъ". Во всякомъ случаѣ, когда Тарасъ видитъ, что коневой остается непреклоннымъ, то считаетъ его чрезвычайно важной помѣхой къ достижению великаго святаго дѣла и находить всѣ средства изъвѣнительными, лишь бы только устранить эту помѣху, лишь бы только столкнуть коневаго и тѣмъ лишить его возможности вести все казачество по крайне гибельному пути.

Еще дѣлѣе — мы содрагаемся, сердце наше сжимается отъ боли, отъ жалости, когда видимъ, что Тарасъ убиваетъ своего собственнаго сына, своего юнаго, но уже мощнаго орлена. Андрей преступецъ, но онъ такъ прекрасенъ, такъ полонъ геройства, мужества! Андрей преступецъ, но онъ еще такъ молодъ! Андрей преступецъ, но онъ увлекся столь бурной, столь горячей молодостью своей! Андрей преступецъ, но его унесъ неудержимый потокъ кипучихъ силъ, только что вырвавшихся изъ свѣтла Божій. Сколько же всему этому Андрей заслуживаетъ синехожденія! Кагимъ же вмѣстѣ съ тѣмъ ужаснѣмъ, безчеловѣчнѣмъ, безсердечнѣмъ отцомъ кажется намъ Тарасъ. Но и въ этомъ случаѣ прежде, чѣмъ произнести судъ надъ Тарасомъ, обратимся опять къ той великой идеѣ, которая служитъ путеводной звѣздою всей его жизни и дѣятельности. Идея защищать Православную Вѣру и православныхъ христіанъ такъ неразлучна со всѣмъ существованіемъ Тараса, что, по мнѣнію, жизнь виѣ служенія этой идеѣ неимѣеть никакого значенія, никакого смысла, даже совсѣмъ не жизнь. Что же, по взглѣду Тараса, остается тому, кто Богомъ и природой призванъ быть истиннымъ поборникомъ данной идеи, но кто на самомъ дѣлѣ преступнымъ образомъ измѣнилъ ей? Кромѣ мрачной смерти самого тяжкаго преступника — ничего. Такой человѣкъ самъ себя убилъ нравственно, самъ погубилъ свою душу, — и если онъ еще медлитъ убить себя физически, если онъ еще медлитъ предать земль свое — въ сущности бездушное, мертвое, уже разлагающееся тѣло, то другіе обязаны сдѣлать это за него. Отсюда — измѣни самъ Тарасъ какънибудь идѣѣ, которая играетъ такую важную роль въ его жизни, — онъ тогдѣ-часть же шокончилъ бы съ собою. Измѣни этой идеѣ любой казакъ, Тарасъ немедленно же обрѣкъ бы его на смерть. Измѣнилъ данной идеѣ собственный сынъ Тараса — Андрей — онъ уже больше не долженъ, не можетъ жить. Пожалѣть Андрея, помиловать его потому, что онъ сынъ, во-первыхъ, значило бы для Тараса измѣнить идеѣ; во-вторыхъ, это и не имѣло бы, по его мнѣнію, никакого смысла. Андрей — еще жи-

вой — уже быть въ его глазахъ трупомъ. Въ этомъ стиошениі на долю Андрея выпала та же горькая участъ, выпадть тотъ же роковой жребій, какіе выпали бы на долю всякаго другаго казака въ случаѣ измѣни его своей Православной Вѣрѣ и своимъ православнымъ братыムъ. Разница только въ томъ, что всякаго другаго казака Тарасъ, можетъ быть, не рѣшился бы убить безъ суда и расправы. Андрея же онъ убивается не задумываясь, убивается по рѣшенію своего собственного суда, считая себя совершение въ правѣ, даже обязаннымъ это сдѣлать. „Я тебя породилъ, я тебя и убью!“ — говорить Тарасъ Андрею. Разница только въ томъ, что всякій другой казакъ не причинилъ бы Тарасу своимъ преступленіемъ столько горя, столько муки, сколько причинилъ ему Андрей. Каждая нація гордится своими героями, своими великими въ томъ или другомъ отношеніи людьми. Каждая нація, наоборотъ, гнущается своими преступниками, своими извергами. Какъ же мы радуемся, какъ же мы торжествуемъ, когда тѣ или другіе герои оказываются нашими близкими, нашими кровными родными! Какъ мы, напротивъ, горюемъ, какъ мы убиты духомъ, когда тѣ или другіе преступники являются людьми одной съ пами илоти, одной съ нами крошки! И эти люди тѣмъ болѣе заставляютъ насъ страдать и мучиться, чѣмъ больше они обѣщали намъ собою и чѣмъ больше мы дѣйствительно видѣли въ нихъ хорошаго и доброго: — Собираясь въ Сѣчь, Тарасъ „заранѣе тѣшилъ себя мыслю, какъ онъ явится туда съ двумя сыновьями своими и скажетъ: „Вотъ, посмотрите, какихъ я молодцевъ привель къ вамъ!“ какъ представить ихъ всѣмъ старымъ, закаленнымъ въ битвахъ, товарищамъ; какъ поглядить на первые подвиги ихъ въ ратной наукѣ...“<sup>1)</sup>). Тарасъ дѣйствительно былъ свидѣтелемъ ихъ замѣчательныхъ подвиговъ — „Старому Тарасу любо было видѣть, какъ оба сына его были одни изъ первыхъ“<sup>1)</sup>). Тарасъ особенно удивился доблестямъ Остапа, по „не разъ дивился отецъ и Андрею, видя, какъ онъ, понуждаемый однимъ только запальчивымъ увлеченіемъ, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и однимъ бѣщеніемъ натискомъ своимъ производилъ такія чудеса, которымъ не могли не изумиться старые въ бояхъ. Дивился старый Тарасъ и говорилъ: „и это добрый (врагъ бы не взялъ его) вояка! не Остапъ, а добрый, добрый также вояка!“<sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> Выраженія Гоголя.

И вдругъ этотъ добрый вояка разрушаетъ всю отцовскую гордость, всю отцовскую радость Тараса и покрываетъ его старую голову страшнымъ позоромъ. И вдругъ этотъ добрый вояка долженъ погибнуть „безславно“, прощать постыдѣйшимъ образомъ. Гдѣ послѣ всего этого предѣль страданія и скорби Тараса? Нѣть! Чѣмъ осуждать Тараса за сыноубийство, скорѣе взглянемъ на то, что у него хватило правственаго мужества принести въ жертву своей великой, святой идеѣ даже роднаго сына — и еще какого сына! Чѣмъ обвинять Тараса въ безсердчности, въ отсутствіи отцовской любви, скорѣе пожалѣемъ о глубокомъ, неизѣримомъ горѣ его, какъ о горѣ имени любящаго и сильно любящаго отца. Опь, Тарасъ, безжалостно убившій сына, долго, однако, глядѣть „на бездыханный трупъ“ его. Сколько тоски, сколько печали, сколько вмѣстѣ съ чѣмъ любви въ этомъ взглядѣ! Опь, Тарасъ, плачать资料 своего роднаго сына, оплакивать, однако, послѣдняго самыи горькими словами: „Чѣмъ бы не казаль? — произносить Тарасъ, стоя надъ своимъ убитымъ сыномъ — и становѣтъ высокій, и чернѣюшій, и лицо какъ у дворянинна, и рука была крѣпка въ бою! Пропалъ! Пропалъ безславно...“ Какъ знаменательны эти слова, сколько горя выражаютъ они въ устахъ Тараса! Нѣть! Нѣть! Тарасъ любилъ своего сына, любилъ Андрея, любилъ, какъ истинный отецъ; только любовь къ идеѣ была у него сильнѣе, выше любви къ сыну. Отцовская любовь Тараса еще блестательнѣе доказывается всѣми отношеніями его къ Остапу. Нѣкоторая изъ этихъ отношеній, менѣе важныя для нашей цѣли, мы уже видѣли. Укажемъ теперь на остальные, болѣе важныя для этой цѣли, отношения Тараса къ Остапу. Видя необычайное мужество, необычайное геройство Остапа, замѣчая въ немъ удивительныя способности полководца, Тарасъ съ восторгомъ говорить: „О, да это будетъ современемъ добрый полковникъ! ей, ей, будетъ добрый полковникъ, да еще такой, что батька за цоясь заткнеть“. Тарасъ съ гордостью выставляетъ превосходство сына надъ собою. Насколько же, стало быть, отцовская любовь выше у него всякаго самолюбія, всякой зависти! Тараѣ истинно по отцовски радуется тому, что его Остапа, младшаго изъ всѣхъ уманцевъ, послѣдніе выбрали своимъ атаманомъ и что онъ — Остапъ — со словою служить въ этомъ званіи. Тарасъ отъ души благодаритъ „всѣхъ уманцевъ за честь, оказанную ему“. Тарасъ съ величайшимъ самоотверженіемъ, какъ разъяренный левъ, рвется и пробивается сквозь множества непріятелей на помощь къ Остапу,

когда того, одного, разомъ окружаютъ сначала шестеро, а потомъ чутъ ли не восемь разъ враговъ. Съ какою болью восклицаетъ Тарасъ: „Эхъ Остапъ, Остапъ!“ когда видитъ, что постѣціяго уже беруть въ плѣнъ! Какъ отчаянно рвется въ это время къ своему сыну Тарасъ, пока безпощадные ужасные удары враговъ не лишаютъ его самого сознанія. Вотъ какъ авторъ передаетъ это обстоятельство! „На Остапа говорить онъ — уже паскочило вдругъ шестеро: но не въ добрый часъ видно паскочило: съ одного полетѣла голова, другой перевернулся, отступивши; угодило коньемъ въ ребро третьего; четвертый былъ по отважнѣе, уклонился головой отъ пули, и пошла въ конскую грудь горячая пуля—вздыбълъ бѣшеный кошъ, гримулся о землю и задавилъ подъ собою всадника. — Добре, сынку! Добре, Остапъ! кричалъ Тарасъ. — Веть я слѣдомъ за тобою. А самъ все отбивался отъ наступавшихъ. Рубится и бѣтъ Тарасъ, спасать гостиныи тому и другому въ голову, а самъ глядитъ все впередъ на Остапа, и видитъ, что уже вновь схватилось сть Остапомъ мало не восемь разомъ. „Остапъ, Остапъ! не поддавайся!“ Но уже одолѣваютъ Остапа; уже одинъ накинулъ ему на шею арканъ, уже вязнутъ, уже берутъ Остапа. „Эхъ, Остапъ, Остапъ!“ кричалъ Тарасъ, пробиваясь къ нему, рубя въ капусту встрѣчныхъ и щошеречныхъ. „Эхъ, Остапъ, Остапъ!..“ Но какъ тяжелымъ камнемъ хватило его самого въ ту же минуту. Все закружилось и повернулось въ глазахъ его. На мигъ смыкало сверкнули предъ низъ головы, коня, дымъ, блескъ огня, сучья съ древесными листьями. И грохнулся онъ, какъ подрубленный дубъ, на землю. И туманъ покрылъ его очи.“ А что дѣлается съ Тарасомъ, когда черезъ двѣ недѣли онъ, весь израненый, едва приходитъ въ себя, едва озаряется сознаніемъ, когда у него чутъ-чутъ воскресаетъ память, когда „стражная слабость одолѣваетъ его члены“, прежде столь сильные, столь могучие! Вотъ слова автора объ этомъ! — „А Остапъ? вскричалъ вдругъ Тарасъ, испугавшися приподняться и вдругъ вспомниль, какъ Остапа схватили и связали въ глазахъ его, и что онъ теперь уже въ ляжскихъ рукахъ. И обняло горе старую голову. Сорвалъ и сдернулъ онъ все перевязки ранъ своихъ: бросилъ ихъ далеко прочь, хотѣть громко что-то сказать — и вместо того понесъ чечуху: жарь и бредъ вновь овладѣли имъ, и пошелись безъ толку и связи безумныя рѣчи“. А какъ горюетъ, какъ сокрушается, какъ скорбитъ объ Остапѣ Тарасъ потому, вылѣчившись, благодаря свой желѣзной

натурѣ, отъ ужасныхъ ранъ! „Напрасно, говоритьъ авторъ, старались занять и развеселить Тараса; напрасно бородатые, сѣдые бандуристы, проходи по два и по три, разславили его казацкіе подвиги,—суроно и равнодушно глядѣть онъ на все, и на неподвижномъ лицѣ его выступала неугасшая горесть и тихо, понуривъ голову, говорить онъ: „Сыпь мой, Остань мой!.. Тарасть уходить въ луга и стени, будто бы за охотою, но зарядъ его оставался не выстрѣленнымъ; и, положивъ ружье, полный тоски садился онъ на морской берегъ. Долго сидѣть онъ тамъ, понуривъ голову и все говоря: „Остань мой, Остань мой!“ Передъ нимъ зеркало и разстипалось Черное море; въ дальнемъ тростникѣ кричала чайка: бѣлый усъ серебрился и слеза канала одна за другою“. Слишкомъ же велико должно быть горе, если оно вызвало слезы у такого человѣка, какъ Тарасть. Голова Тараса ощѣнена врагами его въ дѣвъ тысячи червонныхъ. Стоитъ только Тарасу попасться въ руки своихъ враговъ, чтобы они, какъ бѣшенные зѣбри, растерзали его. Тарасть все это очень хорошо знаетъ. Смерть на полѣ браніи не страшна Тарасу: сколько разъ въ жизни стоять онъ лицомъ къ лицу со смертію! Но можетъ ли быть чтонибудь хуже для Тараса, чѣмъ доставить собою торжество своимъ злѣйшимъ врагамъ, дать этимъ врагамъ возможность изѣваться надъ нимъ и паконецъ умереть отъ ихъ руки? Тѣмъ не менѣе—Тарасть рискуетъ очутиться въ такомъ ужасномъ для него положеніи, и при крайне затруднительныхъ условіяхъ отправляется въ Варшаву — въ самый центръ своихъ враговъ. Что же его такъ влечетъ сюда? Одно только желаніе „развѣдать, какъ самъ говоритъ Тарасть, живъ ли Остань? въ могилѣ? или уже и въ самой могилѣ нѣтъ его?“ Одна только отдаленная, слабая, безотчетная надежда увидѣть его, если онъ еще живъ. Послѣ неудачной попытки своей увидѣться съ Осташомъ въ темницѣ, Тарасть отправляется на площадь, где должна совершиться казнь Осташа. „Я хочу посмотретьъ, какъ его будутъ мучить“—говорить Тарасть. Эти слова Тараса слишкомъ красорѣчивы, слишкомъ понятны для всякаго, кому только знакомо святое чувство любви, чтобы ихъ еще нужно было разъяснить. А „что, спрашиваетъ авторъ, почувствовалъ старый Тарасть, когда увидѣть своего Осташа? Что было тогда въ его сердцѣ?“ А что, спросимъ мы, происходило въ душѣ Тараса, когда онъ видѣлъ, какъ Осташу „увязали руки и ноги въ нарочно сдѣланные станки; когда стали перебивать Осташу на рукахъ и ногахъ кости, — когда ужасный

хрикъ ихъ послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями"; когда надъ Остапомъ совершились еще болѣе возмутительныя звѣрства, — звѣрства, которыхъ авторъ не рѣшаются даже передать, боясь "смузгать читателей картиною адскихъ мукъ". Сколько любви слышится въ словахъ Тараса: "Добре сыну, добрѣ!" — словахъ, два раза повторяемыхъ имъ во время казни Остапа! Вмѣстѣ съ Остапомъ казнили и другихъ запорожцевъ. Остапу "первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Онъ глядѣлъ на своихъ, поднялъ руку вверхъ и произнесъ громко: "Дай же Боже, чтобы всѣ, какіе тутъ ни стоять еретики, не услышали, печестивые, какъ мучится христіанинъ! чтобы ни одинъ изъ насъ не промолвилъ ни одного слова". И вотъ въ отвѣтъ на эту рѣчь Остапа Тарасъ и сказалъ тихо: "Добре, сыну, добрѣ!" За тѣмъ — эти же слова Тарасъ повторяетъ, видя, что Остапъ "выносить терзанія и пытки, какъ исполнинъ", что Остапъ не издастъ ни крика, ни стона, въ то время, когда надъ нимъ совершаются самыя жестокія, самыя неслыханныя звѣрства, — звѣрства, о которыхъ мы только что говорили. Слова Тараса: "Добре, сыну, добрѣ!" служатъ выраженіемъ не узкой, инстинктивной любви отца къ сыну, а любви высшей, нравственной, вытекающей изъ глубокаго благоговѣнія къ великой, святой идеѣ. Страшное, роковое положеніе Остапа, его ужасныя невыразимыя муки естественно должны были вырвать изъ груди Тараса болѣзnenный вопль, — вопль отца о страданіяхъ и гибели сына. Но Тарасъ видѣтъ, что никакія муки не въ состояніи хоть сколько нибудь поколебать твердость и мужество Остапа; что всѣ ужасы, всѣ терзанія и пытки показываютъ его еще въ лучшемъ сѣть, показываютъ его истиннымъ героемъ, воплотившимъ и олицетворившимъ въ себѣ идеалъ казака. И отрадное, высшее нравственное чувство заслоняетъ собою въ душѣ Тараса обыкновенное чувство отца, такъ что вместо болѣзnenного вопля и стона — изъ груди Тараса вырываются слова: "Добре, сыну, добрѣ!" Но когда подвели Остапа — говоритъ авторъ — къ послѣднимъ смертнымъ мукамъ, казалось, какъ будто стала подаваться его сила. И повелъ онъ очами вокругъ себя. Боже! все невѣдомыя, все чужія лица! Хоть бы кто-нибудь изъ близкихъ присутствовалъ при его смерти. Онъ не хотѣлъ бы слышать рыданій и сокрушепія слабой матери, или безумныхъ воиновъ супруги, исторгающей волосы и блющей себя въ бѣлыя груди; хотѣлъ бы онъ теперь увидѣть твердаго мужа, который бы разумнымъ словомъ освѣжилъ его и

утешить при кончинѣ. И упалъ опь силою и воскликнулъ въ душевной немощи: „Батько! гдѣ ты? слышишь ли ты все?“ — Слыши! раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллионъ народа въ одно время вздрогнулъ“. Какое красорѣбие изобразить все значение этого „слышу“! Какой даръ слова передаетъ, сколько оно выражаетъ себою великой, самоотверженной любви?

Послѣ всего этого, слишкомъ очевидно, что больше любить дѣтей, чѣмъ любить Тарасъ, невозможно. Только любовь къ идеѣ была у него еще сильнѣе, еще выше. Отсюда — Андрей измѣнилъ этой идеѣ, личные интересы поставилъ выше ея, выше интересовъ всего казачества, опозорилъ въ себѣ храбраго рыцаря, славнаго казака — и Тарасъ убиваетъ его. Останъ отдаетъ жизнь свою за идею, за интересы всего казачества, прославляется какъ доблестный воинъ, какъ могучий витязь, какъ истицій казакъ — и Тарасъ съ радостю пошелъ бы за него на смерть. Отсюда — па сколько его огорчаетъ позоръ Андрея, па столько его радуетъ слава Остана. И чѣмъ прискорбнѣе для него первое, чѣмъ отраднѣе для него послѣднєе. Отсюда же Тарасу еще тяжелѣе, еще горестнѣе, еще мучительнѣе видѣть страданія и гибель Остана, но вмѣстѣ съ чѣмъ Тарасъ въ самыхъ мукахъ своихъ находитъ отраду, которая и выражается въ словахъ его: „Добре, сыну, добре!“

Наконецъ Тарасъ является предъ нами страшнымъ варваромъ, ужаснымъ чудовищемъ, когда мстить своимъ врагамъ. „Даже самимъ казакамъ, говорить авторъ, казалось чрезмѣрно его безнадѣянія єврѣпость и жестокость. Только огонь, да висѣлицу опредѣлила сѣда голова его, и голось его въ войсковомъ совѣтѣ дышала только истребленіемъ“. Уже все огромное, ста двадцати тысячное, казацкое войско самымъ жестокимъ, самымъ страшнымъ образомъ отомстило полякамъ „за оскорблениѣ вѣры предковъ“ и за посмѣяніе ирапъ своихъ“. Уже все казацкое войско, уступая желанію русскихъ православныхъ пастырей, въ лицѣ своихъ полковниковъ и гетмана, заключаетъ миръ съ польскимъ гетманомъ, „взявши съ него клятвенную присягу оставить на свободѣ всѣ христіанскія церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды казацкому воинству“. Одинъ только полковникъ Тарасъ Бульба не согласенъ на этотъ миръ. Одинъ только полковникъ Тарасъ еще не насытился местию. И увлекши за собою весь свой полкъ и много другихъ казаковъ, отправляется „къ католикамъ въ гости“. И гуляетъ же Тарасъ по всей Польшѣ съ своими казаками! Опь уже „выжегъ

восемнадцать мѣстечекъ, близъ сорока костеловъ; онъ уже „доходить до Кракова. Много избѣгъ онъ всякой пылкти, разграбилъ богатѣйшіе и лучшіе замки; распечатали и поразили по землѣ казаки вѣковые меда и вина, сохранию сберегавшиеся въ панскихъ погребахъ; изрубили и пережгли дорогія сукна, одежды и утвари, паходимыя въ кладовыхъ. „Ничего не жалѣйтъ!“ повторялъ только Тарасъ. Не уважили казаки чернобровыхъ папянокъ, блогрудыхъ, свѣтлоликихъ, дѣвицъ; у самыхъ алтарей не могли спастись отъ зажигатель ихъ Тарасъ вмѣстѣ съ алтарями. Не одѣлъ бѣлоспинѣжныя руки подымались изъ огненнаго пламени къ небесамъ, сопровождались жалкими криками, отъ которыхъ бы подвигнулась сама сырая земля и стеснѧ трава поникла бы отъ жалости допу. Но не винили почему жестокіе казаки и, поднимая коньками съ улицъ младенцевъ ихъ, кидали къ нимъ же въ пламя. „Это вамъ, вражьи ляхи, поминки по Остапу!“ приговаривалъ только Тарасть. И такіе поминки по Остапу спрашивали онъ въ каждомъ селеніи.“

Такимъ образомъ жестокость Тараса достигаетъ самыхъ чудовищныхъ размѣровъ. И мстить то онъ такъ безчеловѣчно, и видиму, не за общее дѣло, не за вѣру, не за идею, а за себя, за свои личные интересы, за своего роднаго сына, за своего Остапа. Иначе—зачѣмъ же Тарасъ продолжаетъ мстить и постыдѣ того, какъ поляки заключили съ казаками миръ и клятвенно обѣщали пеирконосовѣнность вѣры и правъ послѣднихъ? Иначе—зачѣмъ же Тарасть, обращалась къ своимъ жертвамъ, приговариваетъ: „Это вамъ поминки по Остапу!“

Да!...

**Крайне жестоко, крайне безчеловѣчно мстить Тарасть полякамъ.** Но развѣ мы не цѣнѣтъ отъ ужаса, развѣ волосы наши не подпираются дѣбомъ, когда мы представляемъ себѣ тѣ адскія муки, которыя поляки причиняютъ казакамъ? Жестокости Тараса, его безчеловѣчныя дѣянія по отношенію къ полякамъ являются неизбѣжнымъ возмездіемъ.

**Крайне жестоко, крайне безчеловѣчно мстить Тарасть полякамъ.** Но онъ мстить за все казачество, мстить за идею, хотя казаки и заключили съ поляками миръ,—хотя поляки и поклялись не посягать больше на вѣру и права казаковъ. Проникнутый благоговѣніемъ къ вѣрѣ, любовью къ своимъ кровнымъ по вѣрѣ, Тарасть не перестаетъ тревожиться за испарунимость первой и за спокойствіе послѣднихъ. Искущенный горькими опытами, Тарасть очень хорошо

попимасть поляковъ — и не вѣрить имъ. Его старое сердце заранѣе чути бѣду. Его прозорливый глазъ уже видитъ горе, муки и гибель тѣхъ, которые поддаются увѣрѣніямъ, обѣщаніямъ и клятвамъ поляковъ. И какъ онъ горюетъ, какъ онъ скрьбится о будущемъ несчастіи своихъ товарищей! И какимъ пророческимъ духомъ вѣеть отъ его словъ, когда онъ предсказываетъ это несчастіе! И дѣйствительно! „Недаромъ провѣщаѣ Тарасть: такъ все и сбылось, какъ онъ провѣщаѣ“. Тарасть мстить за все казачество, за идею, хотя и приговаривается, обращаясь къ своимъ врагамъ: это вами поминки по Остапу! „И по Андреѣ!“ невольно прибавляется сердце Тараса: и только уста его не рѣпаются произнести эти послѣднія слова. Но, справляя поминки по своихъ сыновьяхъ, Тарасть въ тоже самое время мстить за все казачество. Тарасть вообще мстить за все зло, которое поляки причинили казакамъ; Тарасть въ частности мстить за то, что въ лицѣ Андрея, а тѣмъ болѣе въ лицѣ Остапа поляки многаго, очень многаго лишили казачество. Обстоятельство же, что Андрей и Остапъ родные сыновья Тараса, только дополняетъ, или — лучше сказать — иероцодилаетъ чашу его страданій, его муки, дѣлаетъ болѣе чувствительнымъ его сердечное горе, болѣе тяжелой его душевную скорбь, а вслѣдъ за тѣмъ болѣе яростной, болѣе жестокой его месть. И онъ же потому, что поляки лишили его возможности оставить послѣ себѣ казачеству дорогое наслѣдство — казачеству, за которое онъ всегда готовъ положить голову свою. И въ самомъ дѣлѣ! Душою всей жизни и дѣятельности Тараса, вѣхъ его номышеній служитъ идея о процвѣтаніи Православія и о благоденствіи православныхъ христіанъ. Тарасть весь вѣкъ своей неутомимо, самоотверженно ратуетъ за эту идею. Она для него такъ дорога и свята, что онъ желалъ бы оставаться вѣчнымъ поборникомъ ея. Но неумолимое время уже унесло многие годы Тараса, а его самого приблизило къ роковому для каждого человѣка предѣлу. Скоро, скоро долженъ сойти Тарасть въ могилу. Будутъ и послѣ него защищать Православіе и православныхъ христіанъ, но не онъ будетъ творить это великое и святое дѣло. Кто же его-то замѣнитъ? Но Тарасть спокоенъ; сердце его даже не нарадуется. Онъ оставляетъ послѣ себѣ свою же собственную плоть и кровь: онъ оставляетъ своихъ родныхъ сыновей. Сыновья эти подаютъ самыя блестящія надежды: они уже показали себя могучими, славными витязями. Тарасть не умретъ: онъ будетъ жить въ лицѣ своихъ дѣтей: они съ честью будутъ продолжать его священное служеніе идеи.

Немного воинъ оставилъ Тарасъ казачеству въ наследство; но какъ много значать эти воины! Опытъ всей боевой жизни Тараса, подвиги его сыновей слишкомъ хорошо показали ему, что значить во время отчаянной битвы такой воинъ, какъ Андрей,—воинъ, который въ пылу схватъ творить чудеса храбрости и который своимъ энтузиазмомъ увлекаетъ другихъ; что значить для войска такой вождь, какимъ уже показалъ себя Остапъ и какимъ онъ еще имѣть быть въ послѣдствіи,—вождь, который вдохновляетъ массу, подѣляетъ ее исполненными силами, дастъ ей свѣтъ, разумъ и направляетъ ее по вѣрному, славному пути.. И вдругъ заклятые враги Православія и Православныхъ христіанъ, заклятые враги всего, что такъ дорого и свято для Тараса, враги, панесшіе уже столько глубокихъ ранъ его сердцу оскорблениемъ вѣры и угнетенiemъ казачества,—враги эти добавокъ ко всему, лишаютъ его, Тараса, послѣдней, единственной отрады, лишаютъ его самого дорогаго утѣшенія, самой священпой радости. Чары одной изъ полекъ дѣлаютъ славнаго, доблестнаго Андрея жертвой позора и гибели. Невыразимыя зѣрства поляковъ исторгаютъ душу еще болѣе славнаго, еще болѣе доблестнаго Остапа и заставляютъ его умереть среди ужасныхъ пытокъ, страданій и мукъ. Остапъ въ это время вполнѣ прославляется; онъ выростаетъ въ колосальнаго, чуднаго героя, онъ обнаруживаетъ необычайное нравственное мужество. Но тѣмъ чувствительнѣе его потеря. Удивительно ли послѣ всего этого, что общее горе Тараса о казачествѣ окрашивается горемъ его о своихъ сыновьяхъ? Удивительно ли, что это послѣднее горе, сливаясь съ первымъ и усиливаясь имъ, въ тоже время сосредоточивается его въ себѣ, является—такъ сказать—его носителемъ и выразителемъ? удивительно ли вѣѣсть съ тѣмъ, что распланиваясь съ поляками, Тарасъ приговариваетъ: „это вамъ поминки по Остапу!“ Хотя старое сердце Тараса горюетъ и объ Андреѣ, хотя старое сердце Тараса негодуетъ и за Андрея, однако Тарасъ и самому себѣ не хочетъ сознаться въ этомъ, потому что Андрей такъ опозоренъ измѣной вѣрѣ и братямъ. Но Тарасъ говоритъ и повторяетъ, что онъ горюетъ и скорбитъ объ Остапѣ, что онъ негодуетъ и мстить за Остапа, потому что Остапъ съ такою славою умеръ за вѣру и братьевъ.

Крайне жестоко, крайне безчеловѣчно мстить Тарасъ полякамъ. Но онъ такъ беспредѣльно, такъ свято любить все то, за что мстить—любить Православіе и православныхъ христіанъ. Въ этомъ

краснорѣчиво убѣдили насъ уже разсмотрѣные факты изъ жизни и дѣятельности Тараса. Анализъ данныхъ фактовъ освѣтилъ насъ яркимъ пламенемъ самоотверженной любви Тараса къ вѣрѣ и братьямъ по вѣрѣ. Тѣмъ не менѣе, приведемъ новые факты въ доказательство этой высокой черты его, приведемъ ихъ потому, что они еще прямѣе, еще рельефнѣе обнаруживаютъ ее предъ нами, еще очевиднѣе, еще пропутительнѣе убѣждаютъ насъ въ той мысли, что колоссальная жестокость Тараса относительно враговъ православія и казачества является неизбѣжнымъ слѣдствіемъ его колоссальной любви къ тому и другому.

Благодаря обольстительной силѣ золота, Тарасъ проникаетъ до самаго подземелья, гдѣ вмѣстѣ съ другими казаками томится его Остапъ. И двери подземелья уже готовы раскрыться предъ Тарасомъ. Еще минута — и Тарасъ увидится съ Остапомъ. Но золото ведетъ Тараса къ цѣли только потому, что онъ является подъ видомъ иностранного графа. Малѣйшая неосторожность со стороны Тараса — и онъ въ рукахъ враговъ, которые, злорадно изѣвавшись надъ нимъ и потѣшаясь его несчастіемъ, какъ дикие звѣри, разорвутъ его на блоки. А мы уже знаемъ, что доставить собою такое торжество полякамъ, умереть отъ ихъ руки — для Тараса хуже всѣхъ мученій на свѣтѣ, хуже всякой другой, самой страшной, самой жестокой смерти. Малѣйшая неосторожность со стороны Тараса — и онъ лишенъ возможности увидѣться съ Остапомъ. А мы уже знаемъ, что это для Тараса еще хуже, чѣмъ сдѣлаться жертвой своихъ заклятыхъ враговъ. Однако, когда гайдуки, стояцій у дверей подземелья, собираясь открыть эти послѣднія Тарасу и низко кланяясь ему, какъ иностранному графу, называетъ казаковъ собаками, а вѣру ихъ считаетъ такою, что никто ее не уважаетъ, — Тарасъ выходитъ изъ себя и кричитъ: „Врешь ты, чортовъ сынъ! самъ ты собака! Какъ ты смѣешь говорить, что нашу вѣру не уважаютъ! Это вашу еретическую вѣру не уважаютъ!“ Этотъ фактъ слишкомъ краснорѣчивъ самъ по себѣ, чтобы его еще нужно было разъяснять. — На совѣщаніи запорожцевъ подъ Дубномъ Тарасъ первый является краснорѣчивымъ, сильнымъ, пламеннымъ поборникомъ и выражателемъ „святаго закона товарищества“, первый съ полной горячностью, съ полнымъ воодушевленіемъ говорить о томъ, что нельзѧ оставить плѣнныхъ товарищѣй въ рукахъ поляковъ. Оставить товарищѣй на поруганіе — для Тараса все равно, что оставить святыню на поруганіе

Тарасъ готовъ даже одинъ вступить въ борьбу за пленныхъ товарищей.—Атаманочъ надъ казаками, которые остались подъ Дубномъ для великаго подвига, избрани Тарасъ, какъ найдоблестнѣйшій изъ всѣхъ. Казаки эти, разставшись съ товарищами, которые отправились преслѣдоватъ Татаръ, невольно задумываются, невольно впадаютъ въ уныніе. Тарасъ даетъ имъ время свыкнуться съ такимъ состояніемъ духа, „а между тѣмъ въ тишинѣ готовится разомъ и вдругъ разбудить ихъ всѣхъ, чтобы вновь и съ большою силой, чѣмъ прежде, воротилась бодрость каждому въ душу.“ Для этого Тарасъ избираетъ два средства: Во первыхъ—старое доброе вино, „которое долго лежало у него въ ногребахъ. Взялъ онъ его про-запасъ, на торжественный случай, чтобы если случится великая минута и будетъ всѣмъ предстоять дѣло, достойное на передачу потомкамъ, то чтобы всякому казаку, до единаго, досталось выпить заповѣднаго вина, чтобы въ великую минуту великое чувство овладѣло бы человѣкомъ“<sup>1)</sup>). Во вторыхъ—приличное слово. „Зналъ Тарасъ, что какъ ни сильно само по себѣ старое доброе вино и какъ ни способно оно укрѣпить духъ человѣка, но если къ нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крѣпче будетъ сила и вина, и духа“<sup>2)</sup>). И вотъ, когда большая или меньшая доля „заповѣднаго вина“ уже въ рукахъ каждого изъ казаковъ, когда каждый изъ нихъ ждетъ знака Тараса, „чтобы выпить всѣмъ разомъ,“ — Тарасъ произноситъ слѣдующее слово: „Я угощаю Васъ, папы-братья, не въ честь того, что вы сдѣлали меня своимъ атаманомъ, какъ ни велика подобная честь, не въ честь также прощанья съ нашими товарищами,—нѣть, въ другое время прилично то и другое; не такая теперь предъ нами минута. Предъ нами дѣло великаго поту, великой казацкой доблести! И такъ, выпьемъ, товарищи, разомъ, выпьемъ панередъ всего за святую православную вѣру: чтобы пришло наконецъ такое время, чтобы по всему свѣту разошлась и нездѣ была бы одна святая вѣра, и все, сколько ни есть бусурмановъ, все бы сдѣлались христіанами! Да за однѣмъ уже разомъ выпьемъ и за Сѣчъ, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурманству, чтобы съ каждымъ годомъ выходили изъ нея молодцы, одинъ другаго лучше, одинъ другого краше. Да уже

1) Слова Гоголя.

2) Его же.

вмѣстѣ выпѣмъ и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тѣхъ внуковъ, что были когда-то такие, которые не постыдили товарищества и не выдали своихъ". Такимъ образомъ мы видимъ, съ какимъ благовѣніемъ Тарасъ относится къ предстоящей борьбѣ за плѣнныхъ товарищѣй, какимъ великимъ и святымъ дѣломъ онъ считаетъ эту борьбу. Огсюда же, кромѣ того, очевидно, что Тарасъ какъ нельзя лучше сознаетъ всю опасность имѣющаго быть сраженія, сознаетъ, что вступая въ бой за плѣнныхъ товарищѣй, онъ и казаки, которые вѣрились ему, сами себя обрекаютъ на смерть. Вмѣстѣ съ тѣмъ очевидно, что сознаніе сейчасъ сказанцаго Тарасъ предполагаетъ и въ своихъ слушателяхъ. Однако, въ тотъ самый моментъ, когда Тарасъ желаетъ оживить послѣднихъ, когда желаетъ воскресить ихъ духомъ, — онъ говоритъ имъ объ этомъ именно роковомъ для нихъ обстоятельствѣ. Стало быть, Тарасъ думаетъ, что величие подвига, что приношеніе себя въ жертву за товарищѣй и должно наиболѣшими образомъ ободрять, одушевлять казаковъ. А думаетъ онъ такъ, конечно, потому, что все это въ высшей степени его самого ободряетъ, его самого одушевляетъ. Мы видимъ далѣе, какъ сильно Тарасъ разсчитываетъ пробудить могучій духъ казаковъ еще и мыслю о процвѣтапіи вѣры, Сѣчи и о той истинной славѣ, которая ихъ ожидаетъ. А разсчитываетъ онъ такъ опять же, конечно, потому, что мысль эта какъ нельзѣ болѣе ободряющимъ, оживляющимъ, вообще благотворнымъ образомъ дѣйствуетъ на него самого. И какъ же вѣрно судить Тарасъ о казакахъ по себѣ! Заключая свое слово, Тарасъ воскликнулъ: „Такъ за вѣру, панегиристове, за вѣру!"

—За вѣру! загомонѣли всѣ, стоявшіе въ ближнихъ рядахъ, густыми голосами. — За вѣру! подхватили дальние и всѣ, что ни было, и старое и молодое, выпили за вѣру.

—За Сѣчъ! — сказалъ Тарасъ и высоко поднялъ надъ головомъ руку.

—За Сѣчъ отдалось густо въ переднихъ рядахъ. — За Сѣчъ! — сказали тихо старые, моргнувшіи сѣдымъ усомъ; и встрепенувшись, какъ молодые соколы, повторили молодые: „за Сѣчъ!" И слышало далече поле, какъ поминали казаки свою Сѣчъ.

—Теперь послѣдній глотокъ, товарищи, за славу и всѣхъ христіанъ, какіе живутъ на свѣтѣ!

И всѣ казаки, до послѣдняго, выпили послѣдній глотокъ за славу и всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ. И долго еще

повторялось по всѣмъ рядамъ промежъ всѣми куренями: „За всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ!“<sup>1)</sup>).

Тарасъ такъ хорошо зналъ натуру казаковъ потому, что въ немъ жило и билось сердце всего казачества. А какъ знаменательна, какъ возвыщена рѣчь, которую Тарасъ произносить казакамъ предъ самимъ началомъ рокового, великаго сраженія! Это не была рѣчь оратора, который заранѣе обдумалъ каждую мысль, каждое выраженіе, обдумалъ что и какъ сказать, чтобы произвести на слушателей желаемое дѣйствіе. Рѣчь Тараса сама, безъ всякой преднамѣренной цѣли, вырвалась изъ глубины души, изъ глубины сердца, сама вылилась вслѣдствіе избытка чувствъ, которыхъ хлынули оттуда неудержимымъ потокомъ; „Тарасъ сказалъ рѣчь казакамъ—говоритъ авторъ—не для того, чтобы ободрить и освѣжить ихъ—зналъ, что и безъ того крѣпки они духомъ,—а просто самому хотѣлось высказать все, что было на сердцѣ“. Поэтому рѣчь Тараса особенно драгоценна для насъ: она прямо показываетъ намъ всю его душу, все его сердце. И вотъ что у него на душѣ, вотъ что у него на сердцѣ!

Хочется мнѣ вамъ сказать, панове — говорить Тарасъ — что такое ваше товарищество. Вы слышали отъ отцовъ и дѣдовъ, въ какой части у всѣхъ была земля наша: и грекамъ дала знать себя, и съ Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русскаго народа, свои князья, а не католическіе недовѣрки. Все взяли бусурманы, все пропало; только остались мы, сирые, да, какъ вдовица послѣ крѣпкаго мужа, сирая, также, какъ и мы, земля наша! Вотъ въ какое время подали мы, товарищи, руку на братство! вотъ на чёмъ стоитъ наше товарищество! Нѣть узъ святѣе товарищества. Отецъ любить свое дитя, мать любить свое дитя, дитя любить отца и мать; но это не то, братцы: любить и звѣрь свое дитя! но породниться родствомъ по душѣ, а не по крови, можетъ одинъ только человѣкъ. Бывали и въ другихъ земляхъ товарищи, но такихъ, какъ въ русской землѣ, не было такихъ товарищѣй. Вамъ случалось не одному пропадать на чужбинѣ; видишь: и тамъ люди! также Божій человѣкъ, и разговариша съ нимъ, какъ съ своимъ; а какъ дойдетъ до того, чтобы повѣдать сердечное слово — видишь: нѣть! умные люди, да не тѣ! нѣть, братцы, такъ любить, какъ русская

<sup>1)</sup> Слова Гоголя.

душа, любить не то, чтобы умомъ или чѣмъ другимъ, а всѣмъ чѣмъ дать Богъ, что ни есть въ тебѣ-а!.. сказалъ Тарасъ и махнулъ рукой, и потрясъ сѣдою головою, и усомъ моргнулъ, и сказалъ: нѣтъ, такъ любить никто не можетъ! Злаю, подло завелось теперь въ землѣ нашей: думаютъ только, чтобы при нихъ были хлѣбные стоги, скирды, да конные табуны ихъ, да были бы цѣлы въ погребахъ защечатанные меды ихъ; перенимаютъ, чортъ знаетъ, какіе бусурманскіе обычай; гнушаются языкомъ своимъ; свой съ своимъ не хочетъ говорить; свой своего продаетъ, какъ продаютъ бездушную тварь на торговомъ рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а съдную милость польскогомагната, который желтымъ чеботомъ своимъ бьетъ ихъ въ морду, дороже для нихъ всякаго братства. Но у послѣдняго подлости, каковъ онъ ни есть, хоть весь извалаился онъ въ сажѣ и поклонничествѣ, есть и у того, братцы, крупица русскаго чувства; и проспется онъ когданибудь, и ударится онъ, горемычный, обѣ полы руками; схватить себя за голову, прохлявши громко жизнь свою, готовый муками искупить позорное дѣло. Пусть же знаютъ они всѣ, что такое значить въ русской землѣ товарищество. Уже если на то пошло, чтобы умирать, такъ никому-жъ изъ нихъ не доведется такъ умирать! никому, никому! не хватить на то мышиной натуры ихъ".

Сколько нужно человѣку, обладающему болѣе или менѣе талантомъ, упражняться въ ораторскомъ искусствѣ, чтобы рѣчь его трогала и потрясала слушателей! А между тѣмъ какъ глубоко трогаетъ, какъ сильно потрясаетъ слушателей рѣчь Тараса,—рѣчь человѣка, который всю жизнь свою провелъ въ отчаянныхъ схваткахъ, въ кровопролитныхъ сраженіяхъ, и которому, следовательно, было не до ораторскаго искусства,—рѣчь, произнесенная, кромѣ того, какъ мы уже видѣли выше, безъ всякаго приготовленія, безъ всякой преднамѣренной цѣли, произнесенная вслѣдствіе одной только душевной и сердечной потребности говорившаго высказаться! „Всѣхъ, кто ни стоялъ, передаетъ авторъ, разбрала сильно рѣчь Тараса, дошедъ далеко до самаго сердца; самые старѣшіе въ рядахъ стали неподвижны, потупивъ сѣдныя головы въ землю; слеза тихо накатывалась въ старыхъ очахъ; медленно отирали они ее рукавомъ, и потомъ всѣ, какъ будто сговорились, махнули въ одно время рукою и потрясли бывалыми головами". Почему же рѣчь Тараса такъ глубоко западаетъ въ душу, въ сердце слушателей, такъ сильно дѣйствуетъ на нихъ? Потому что устами Та-

раса говорить сама жизнь, сама истина, сама правда. А жизнь красноречива, истина сильна, правда победоносна. Показавъ, какъ отзвалась рѣчь Тараса въ сердцѣ казаковъ, авторъ сейчасъ же прибавляетъ: „Знать, видно, много напомнилъ имъ старый Тарасъ знакомаго и лучшаго, что бываетъ на сердцѣ у человѣка, умудренаго горемъ, трудомъ, удалью и невзгодами жизни, или хотя и не познавшаго ихъ, но много почувствавшаго молодою, жемчужною душою на вѣчную радость старцамъ-родителямъ, родившимъ ихъ“.

Но вникнемъ въ содержаніе рѣчи Тараса и мы еще ближе, еще отчетливѣе увидимъ вообще тотъ свѣтъ, которымъ она озаряетъ его нравственную личность, еще ближе, еще отчетливѣе увидимъ въ частности тѣ возвышенныя мысли и чувства, которыя онъ высказываетъ здѣсь по отношенію къ товариществу. Тарасъ прежде всего указываетъ на причины, породившія это товарищество. Не корысть и не другія какія нибудь узкія цѣли, а самоотверженные, истиинно-геройскіе мотивы создали его. Затѣмъ—Тарасъ говорить о высотѣ и святости того чувства любви, которое связываетъ между собою членовъ товарищества. По мнѣнію Тараса, товарищеская любовь выше той любви, которая существуетъ между родителями и дѣтьми. Послѣдня можетъ быть слѣдствиемъ и кровнаго и духовнаго родства, можетъ быть слѣдствиемъ и одного только кровнаго родства. Во всякомъ случаѣ—насколько она зависитъ отъ родства по крови—она присуща и животнымъ. Первая же можетъ быть обусловлена однимъ лишь родствомъ по душѣ—и потому доступна только человѣку. Любовь къ товарищамъ, будучи важнѣе родственной любви по самому происхожденію своему, превышаетъ эту послѣднюю и по своей силѣ. Тарасъ доказалъ это самой жизнью своею. И кто не знаетъ, что людей, которые раздѣляютъ наши завѣтныя мысли, чувства и желанія, мы любимъ больше, чѣмъ родителей, женъ и дѣтей, когда тѣ во всемъ этомъ расходятся съ нами?“ Далѣе — товарищество въ русской землѣ Тарасъ ставитъ гораздо выше товарищества въ другихъ земляхъ, потому что такъ любить, какъ любить русская душа, никто, по его мнѣнію, не можетъ. Не знаемъ, насколько всѣ согласятся въ этомъ отношеніи съ Тарасомъ, но какъ бы то ни было для насъ замѣчательны двѣ мысли, которыя онъ высказываетъ здѣсь.

Первая изъ этихъ мыслей касается общечеловѣческой любви. Высока и свята любовь къ товарищамъ, но еще выше, еще святѣе любовь ко всѣмъ людямъ, которыхъ мы любимъ исключительно, что

они согласны съ нами въ главномъ и существенномъ, а потому, что въ каждомъ изъ нихъ видимъ личность, въ каждомъ изъ нихъ чтимъ и уважаемъ образъ Божій и подобіе Божіє. И если даже по всему замѣтно, что въ томъ или другомъ субъектѣ поругана личность, осквернены образъ Божій и подобіе Божіє; мы все таки любимъ этого субъекта, любимъ за ту искру божества, за ту искру человѣчества, которая еще болѣе или менѣе тлится въ его душѣ, въ его сердцѣ. И всѣми силами стараемся разжечь эту искру божества, эту искру человѣчества, чтобы воскресить, оживить и поднять въ немъ личность, очистить и возвысить въ немъ образъ Божій и подобіе Божіє. И какъ благотворна общечеловѣческая любовь для того, кто ею проникнутъ! Чѣмъ шире область, на которую простирается чисто духовная любовь человѣка, тѣмъ больше нравственного наслажденія доставляетъ она тому, кто обладаетъ ею. Это во первыхъ. Во вторыхъ, человѣкъ, напримѣръ, лишился родителей, жены, дѣтей,—всѣхъ родныхъ, друзей и товарищѣй. Если кругъ его любви ограничивался только этими существами, то потерялъ ихъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ потерялъ все. Если же кромѣ нихъ любовь его обнимаетъ и всѣхъ другихъ людей, то для него еще остается цѣлый Божій міръ, гдѣ много, много дорогихъ ему существъ. И тогда, какъ въ первомъ случаѣ онъ вполнѣ несчастливъ, вполнѣ одинокъ, нѣть существа, относительно котораго онъ могъ бы надѣяться, что оно согреетъ и оживить его своимъ участіемъ, своей любовью,—въ послѣднемъ случаѣ и для него еще есть счастіе, и онъ еще далеко не одинокъ, всѣ люди—ему свои, и много, много между ними такихъ, отъ которыхъ онъ навѣрно можетъ ожидать, что они отвѣтятъ на его святую, искреннюю любовь. И вотъ къ этой то высшей священнѣйшей человѣческой любви болѣе или менѣе и приближается Тарасъ. Приготовляя слушателей своихъ къ выводу, что никто въ мірѣ не способенъ такъ любить, какъ русскій человѣкъ, и доказывая вмѣстѣ съ тѣмъ, что товарищество русскихъ превосходитъ товарищество всѣхъ другихъ людей, Тарасъ говоритъ: „Вамъ случалось не одному по язогу пропадать на чужбинѣ; видишь: и тамъ люди! также Божій человѣкъ, и разговариваешь съ нимъ, какъ съ своимъ; а какъ дойдешь до того, чтобы повѣдать сердечное слово — видишь: нѣть! умные люди, да не тѣ; такие же люди, да не тѣ!“ Всѣ слова Тараса, за исключеніемъ первого предложения, прямо склоняютъ насъ къ той мысли, что самъ онъ, какъ старый казакъ, бывалъ

на чужбинѣ, самъ испыталъ сейчасъ высказанное имъ; ссылается же онъ на опытъ товарищей только для большей убѣдительности. Но положимъ, Тарасъ лично не извѣдалъ того, что высказываетъ въ данномъ мѣстѣ; положимъ, онъ дѣйствительно утверждаетъ лишь то, что узналъ отъ товарищей. Во всякомъ же случаѣ утверждаетъ это, во всякомъ случаѣ это составляетъ его искреннее убѣжденіе, и, какъ все, что ни произноситъ онъ въ своей рѣчи, само собою, невольно вытекаетъ изъ тѣхъ чувствъ, которыми переполнены его душа и сердце. Но какое другое чувство, какъ ни чувство общечеловѣческой любви, можетъ быть источникомъ тѣхъ словъ, которыми онъ и не русскихъ признаетъ людьми, и чужеземца называетъ Божімъ человѣкомъ? Да мы имѣемъ и болѣе прямое доказательство, что общечеловѣческая любовь далеко не чужда сердцу Тараса: мы еще раньше слышали, какъ онъ въ самую торжественную минуту выражаетъ желаніе, „чтобы по всему свѣту разошлась и вездѣ была бы одна святая вѣра, и всѣ, сколько ни есть бусурмановъ, всѣ бы сдѣлались христіанами“. Правда, слова, которыми Тарасъ призываетъ русскихъ лучшими людьми на свѣтѣ, вытекаютъ изъ его особенной любви къ нимъ. Правда— вслѣдъ за сейчасъ приведеннымъ желаніемъ Тараса мы слышали и противоположное желаніе его,— желаніе, чтобы Сѣчь долго стояла на погибель всему бусурманству;“ Тарасъ даже убѣжденъ, что „и Богъ, и Святое Писаніе велѣтъ бить бусурмановъ“. Правда— Тарасъ на самомъ дѣлѣ неслыханно жестоко, болѣе чѣмъ звѣрски, относится ко всѣмъ врагамъ Православія и казачества. Но, питая любовь ко всѣмъ людямъ, мы въ то же время совершенно естественно, совершенно логично больше и сильнѣе любимъ тѣхъ, которые ближе къ намъ въ томъ или другомъ отношеніи, такъ что кромѣ общечеловѣческаго родства, есть еще и другія звенья, которыя соединяютъ ихъ съ нами. И чѣмъ больше такихъ звеньевъ между нами и другими, тѣмъ разумѣется мы крѣпче любимъ ихъ. Слѣдовательно совершенно законно, что и Тарасъ, любя всѣхъ людей, любить, однако, сильнѣе русскихъ, которые болѣе другихъ близки къ нему, особенно же казаковъ, которые самымъ тѣснымъ образомъ связаны съ нимъ. А что дороже Тарасу Православія, отъ котораго, онъ убѣженъ, зависитъ спасеніе человѣка? Между тѣмъ мы уже знаемъ, что для Тараса щадить враговъ Православія и казачества—значить губить то и другое. Мы уже знаемъ, что, по взгляду Тараса, враги вѣры и казаковъ и не могутъ жить, не

могутъ существовать. Вѣдь, убить же Тарасъ Андрія, сына своего, когда тотъ оказался врагомъ вѣры и тварицей. А развѣ Тарасъ не любилъ Андрея? Мы видѣли, что Тарасъ любилъ Андрея даже въ томъ самый моментъ, когда погубилъ его молодую жизнь. Но еслибы гнѣвъ и совершенно заглушилъ въ сердцѣ Тараса отцовскую любовь, то во всякомъ случаѣ Тарасъ любилъ Андрея до того рокового времени, когда послѣдній явился предъ нимъ измѣнникомъ Православной Вѣры и православныхъ христіанъ. И чѣмъ больше Тарасъ прежде любилъ Андрея, какъ своего родного сына, тѣмъ острѣе было впослѣдствіи его негодованіе противъ него. Точно также— Тарасъ никого не щадить, когда это кажется ему необходимымъ для защиты вѣры и отчизны, когда враги той и другой не должны и не могутъ болѣе, по его мнѣнію, существовать. Но вѣдь даннаго обстоятельства онъ всѣхъ любитъ, всѣмъ желаетъ счастія, всѣмъ желаетъ сдѣлаться христіанами, то есть православными христіанами,—другихъ христіанъ Тарасъ не признаетъ христіанами, желаетъ этого какъ потому, что тогда наступить полное господство, полное торжество Православія и православныхъ христіанъ, такъ и потому, что всѣ въ его глазахъ Божіи люди. И чѣмъ болѣе онъ ихъ считаетъ такими, тѣмъ болѣе негодуетъ на нихъ, когда они являются врагами святой вѣры и сыновъ ея. И такъ— Тарасъ любить всѣхъ людей. Только Православная вѣра ему дороже всего, потому что она одна даетъ спасеніе человѣку; только казаки для него милѣе всѣхъ, потому что никто такъ не связанъ съ нимъ, какъ они. И вотъ—когда приходится выбирать между гибеллю Православія и казачества и гибеллю враговъ ихъ, Тарасъ, понятно, заботится о спасеніи первыхъ, жертвуя послѣдними, которые, какъ такие, лишены, по его искреннему убѣждѣнію, права и возможности существовать.

Второй выдающейся мыслию Тараса въ разсматриваемомъ мѣстѣ его рѣчи служить указавіе истиннаго чувства любви. Такое чувство любви бываетъ, по его мнѣнію, тогда, когда любишь „не то, чтобы умомъ или чѣмъ другимъ, а всѣмъ, чѣмъ далъ Богъ, что ни есть въ тебѣ“. Какое глубокое, какое вѣрное пониманіе человѣческой души, человѣческаго сердца! Многіе любятъ другіхъ лишь потому, что сознаютъ необходимость и пользу взаимной человѣческой любви, любять именно только умомъ. Но есть и такие, которые любятъ своихъ близкихъ потому, что сами живутъ, дышутъ и наслаждаются этимъ, что все существо ихъ наполнено

любовью, любять, по выражению Тараса, „всѣмъ, чѣмъ далъ Богъ...“ Какъ безжизнена, какъ холодна, какъ подлѣльна любовь первыхъ и какъ, напротивъ, животворна, горяча, естественна любовь послѣднихъ! Для подтверждения этого достаточно взять одинъ только примѣръ. Предъ нами нищій, въ рубицѣ, покрытый ужасными язвами. Кромѣ бѣдности, кромѣ физическихъ страданій, этотъ несчастный испытываетъ еще и нравственныхъ муки. Всякій человѣкъ, по самой природѣ своей, жаждетъ живого общенія съ другими людьми. Между тѣмъ—какъ сильно отталкивается насть могучей инстинкты жизни и здоровья отъ такихъ больныхъ, какъ нашъ нищій! И потому онъ скорбнѣ духомъ, что внушаетъ себѣ людямъ отвращеніе. Его такъ и преслѣдуется мысль, что имъ гнущаются, какъ заразой. Является одинъ изъ тѣхъ, которые любятъ только умомъ.. Онь щедро надѣляетъ нищаго, заботится о мѣрахъ къ облегченію его рапы. Но страдалецъ невольно чувствуетъ, что ему брошена подачка чужимъ, а не оказана помощь братомъ, чувствуетъ, что благодѣтель не болѣеть, однако, о немъ душою и сердцемъ, какъ о своемъ товарищѣ, какъ о подобномъ себѣ человѣкѣ, а скорѣе брезгаетъ имъ, какъ существомъ жалкимъ, отвратительнымъ, какъ существомъ, обреченнымъ судбою омерзѣнію со стороны людей, хотя и старается все это скрыть добрымъ участіемъ въ его тяжеломъ положеніи. Облегчено ли душевное горе бѣдника? Очевидно нѣтъ! Но вотъ приходитъ одинъ изъ тѣхъ, которые любятъ „всѣмъ, чѣмъ далъ Богъ“. Онь, можетъ быть, въ материальномъ отношеніи и не такъ значительно помогаетъ нищему, какъ первый. Но за то какъ онъ утѣшаетъ его нравственно! Чуткій къ малѣйшему утѣшенню, къ малѣйшей отрадѣ, злосчастный горемыка слишкомъ хорошо чувствуетъ, что ему протягиваетъ руку помощи близкій человѣкъ, что этотъ послѣдній всей душою, всѣмъ сердцемъ отзыается на его страданія и муки и заботится о немъ, какъ о членѣ своей родной семьи. Несчастный видѣтъ, что онъ не совсѣмъ еще отверженное существо, что еще и для него есть мѣсто среди людскаго общества, что онъ еще живой членъ его. Легче и свѣтлѣе становится у страдальца на душѣ, а это само собою благотворно влияетъ и на состояніе его тѣла. Мы убѣждены, что Спаситель, помимо своей божественной силы, значительно облегчалъ горькую участъ прокаженныхъ и имъ подобныхъ несчастныхъ той безпредѣльной любовью, которая поднимала ихъ, презрѣнныхъ, изъ праха и ста-

вила рядомъ съ первымъ, лучшимъ человѣкомъ въ мірѣ. Слѣдовательно—Тарасъ, какъ нельзя вѣриѣ, какъ нельзя лучше понимаетъ истинную человѣческую любовь. Но онъ такъ хорошо понимаетъ эту любовь потому, что самъ чувствуетъ ее, что самъ живетъ и дышетъ ею. Онъ даже такъ глубоко, такъ сильно чувствуетъ ее, что волненіе мѣшаетъ ему говорить, что у него не хватаетъ словъ для изображенія ея, что слова замыкаются невольными, но слишкомъ выразительными жестами. „А.. произнѣстъ только Тарасъ, когда сильное волненіе прервало его рѣчь—и махнулъ рукой, и потрясъ сѣдою головою, и усомъ моргнулъ“.

Еще далѣе—послѣ того, какъ чувство любви достигаетъ въ душѣ Тараса высшей степени напряженности, у него естественно вырывается сильное негодованіе противъ тѣхъ, которые изъ-за ничтожныхъ материальныхъ разсчетовъ измѣняютъ этому высокому, святому чувству, продаютъ своихъ же братьевъ—православныхъ христіанъ—и убиваются, работаютъ предъ ихъ врагами. Однако, совершило ли угасаетъ въ душѣ этихъ предателей то чувство, которому они такъ постыдно измѣняютъ? На данный вопросъ Тарасъ отвѣчаетъ намъ слѣдующими словами: „Но у послѣдняго падлюки, каковъ онъ ни есть, хоть весь извалился онъ въ сажѣ и въ поклонничествѣ, есть и у того, братцы, крупица русскаго чувства; и проснется онъ когда нибудь, и ударится онъ, горемычный, обѣ полы руками; схватить себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искушить позорное дѣло“. Эти слова Тараса важны, прежде всего, въ томъ отношеніи, что они показываютъ, какіе глубокіе корни пустило въ его душѣ то чувство любви, о которомъ онъ говоритъ. Все существо Тараса такъ преисполнено этимъ чувствомъ, что оно не можетъ, по его мнѣнію, совершило исчезнуть даже у послѣдняго измѣнника; одна мысль обѣ измѣнѣй сейчасъказанному чувству такъ ужасна для Тараса, что даже отчаяннаго предателя, кажется ему, должны будутъ рапо или поздно встревожить, поразить и терзать угрывзія совѣсти, которыи на время были заглушены различными материальными интересами; горе измѣнника въ данномъ случаѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и желаніе его возвратить прежнюю душевную чистоту представляются Тарасу такими сильными, что, по его искреннему убѣжденію, несчастный готовъ самой дорогой цѣнѣ искупить себѣ тяжкій грѣхъ. Но разматриваемыя слова Тараса важны затѣмъ еще и въ другомъ отношеніи. Они

вѣрно изображаютъ внутреннее состояніе наилучшаго человѣка вообще. Сколько такихъ нравственныхъ уродовъ, которые, погружаясь все глубже и глубже въ омутъ порочной жизни, достигаютъ, наконецъ, самаго дна его! Сколько такихъ изверговъ, которые поражаютъ насъ колоссальностью своихъ преступлений! Такъ и кажется, что все божеское и человѣческое совершило изъикло въ душѣ этихъ субъектовъ и не оставило послѣ себя ни малѣйшаго слѣда; что отсюда въ нравственномъ отношеніи они положительно являются трупами и нѣтъ имъ болѣе возврата къ жизни. Но это только такъ кажется. На самомъ же дѣлѣ и у нихъ еще подъ грудой пороковъ и преступлений таится хоть маленькая искорка божества, хоть маленькая искорка человѣчества. И можно проникнуть до этихъ искоркъ, можно ихъ раскрыть, раздуть, разжечь. И тогда омраченные тѣмъ снова озарятся свѣтомъ, павшіе возстануть, мертвые воскреснутъ. Но само собою разумѣется, для этого необходимо смиреніе искусства рука, пущенъ своего рода чудотворецъ. Такимъ чудотворцемъ является лишь тотъ, кто глубоко понимаетъ человѣческую природу, кто способенъ читать въ душѣ, въ сердцѣ другихъ людей, и кто ближняго своего дѣйствительно любить, какъ самого себя. Пока бѣшенныя страсти и неумолимыя житейскія нужды разжигаютъ человѣка, порабощаютъ въ немъ все лучшее и съ ужасною силою толкаютъ его въ бездну преступной, порочной жизни, до тѣхъ поръ онъ остается глухъ къ голосу совѣсти, къ ея протестамъ и укорамъ. Но коль скоро страсти и нужды эти удовлетворены, человѣкъ, побѣжденный ими, ужасается голоса своей совѣсти и дѣлается безотвѣтной жертвой ея грозныхъ и правдивыхъ обличеній, ея всегдашихъ и острыхъ уколовъ, ея постоянныхъ и глубокихъ угрizenій. Народная мудрость, добытая вѣками, порожденная горькими, печальными, но поучительными опытами, говоритъ: „Что имѣемъ не хранимъ, потерявши плачемъ“. Люди часто не хранять того или другого блага, того или другого сокровища, посланного имъ судьбою, и потому теряютъ, лишаются его; но въ это именно время они понимаютъ всю цѣну потеряннаго блага, потеряннаго счастія, даже считаютъ его выше, чѣмъ оно есть на самомъ дѣлѣ, и горько плачутъ, скрушаются о потерю его. Люди часто не хранять и самаго лучшаго блага, самаго лучшаго сокровища—не хранять чистоты души; но, лишившись этого блага, этого сокровища, они видятъ всю важность его—важность, которая такъ колоссальна,

что никогда не можетъ быть преувеличена,—и въ высшей степени горюютъ, мучатся, плачутъ о своей тяжелой, чувствительной потерѣ, о своемъ позорномъ, низкомъ паденіи. Всѣми силами желаетъ человѣкъ возвратить потерянное благо, потерянное счастье: всѣми силами желаетъ человѣкъ возвратить чистоту и невинность своей души. Но какъ часто горькое, мучительное сознаніе грѣха, подобно кошемару, давить, сковываетъ его и отнимаетъ у него энергию исправиться! Какъ часто его страшить, гнететь мысль о томъ, что совершенное имъ преступленіе выбросило его изъ человѣческаго общества, исключило изъ списка людей, наложило на него клеймо отверженія и совершенно отрѣзalo ему путь къ прежней честной жизни! Какъ часто поэтому овладѣваетъ имъ полное отчаяніе, вслѣдствіе котораго онъ еще стремительнѣе летитъ въ пропасть, думая такимъ образомъ заглушить страшныя угрозы совѣсти, неумолкаемые вопли и стоны больной, измученной души! Вотъ тутъ-то и нужна умѣлая рука, которая бы поддержала его, тутъ-то и нуженъ особенный человѣкъ, который бы подалъ ему помошь и спасъ его. Есть пастыри, которые, желая спасти своихъ пасомыхъ отъ гибели, стараются какъ можно болѣе яркими красками изобразить весь ужасъ ихъ паденія, страшными словами изрекаютъ имъ гнѣвъ Божій, пугаютъ ихъ адомъ, вѣчными мученіями и проч. Но какъ смѣшны, какъ опасны такие духовные врачи! Они силятся вызвать въ душѣ преступника угрызенія совѣсти, но, Боже мой! эти угрызенія совѣсти, и такъ уже пожираютъ его \*). Они являются грозными обличителями, какъ будто сами совершенно чисты отъ грѣха. Они, посланники Бога, полного любви и милосердія, говорятъ о страшной, безжалостной карѣ, о вѣчныхъ, безпредѣльныхъ мукахъ. Они, призванные лѣчить душевныя раны, еще болѣе растрѣляютъ ихъ. Они, явившіеся поднять падшаго, окончательно добиваются его. Избави насъ Богъ отъ такихъ помощниковъ,

\* ) Мы не касаемся тѣхъ преступниковъ, которые, увлекшись ложными и вредными теоріями, не только не видятъ своей вины, но еще считаютъ себя борцами за великую идею. Не касаемся мы и тѣхъ преступниковъ, которые являются такими по невѣдѣнію: Въ томъ и другомъ случаѣ необходимо, разумѣется, какъ можно яснѣе раскрыть заблужденіе и какъ можно ярче, живѣе представить всю опасность его. Но и тутъ, вслѣдъ за обличеніями, необходимо еще ободрить заблудшихъ словами милосердія и любви, подать имъ отеческую, братскую руку и вывести ихъ на истинный путь.

руководителей и спасителей! Истинными помощниками, истинными руководителями и спасителями служать тѣ пастыри, которые являются къ падшему не какъ высшій къ низшему, какъ судья къ подсудимому, какъ неправедникъ къ грѣшнику, а какъ равный къ равному и при томъ какъ братъ къ брату; которые не мучатъ, не терзаютъ его безпощадными, неумолимыми доказательствами, что онъ тяжелый преступникъ, а успокаиваютъ его, вливаютъ въ душу его отраду добрымъ, сердечнымъ утѣшениемъ, что онъ можетъ исправиться; которые не убиваютъ въ немъ послѣдня, еще оставшиися силы ужасной, мрачной рѣчию о гневѣ Божиимъ и вѣчныхъ мукахъ, а возвращаютъ ему уже потерянныи хорошими, свѣтлыми словами о безпредѣльномъ милосердіи и безконечной любви Творца; которые, однимъ словомъ, не умерщвляютъ въ немъ еще живое, а воскрешаютъ уже умершее..

Но возвратимся къ рѣчи Тараса. Наконецъ отъ низкаго, жалкаго положенія тѣхъ, которые измѣняли своимъ братьямъ—православнымъ христіанамъ, Тарасъ, по ассоціаціи контраста, переходитъ къ высокой, завидной участіи, которая сейчасъ же ожидается его и вѣрившихся ему казаковъ; возбуждается до энтузіазма мыслю, что товарищество русскихъ прославится предъ всѣми; одушевляетъ этой мыслю самого себя, одушевляетъ ею и своихъ слушателей—одушевляетъ къ великому священнодѣйствію, къ великому жертвооприношенію, къ приятію мученической кончины за товарищей.

Замолкла рѣчь Тараса, но такъ и чутся, такъ и представляется, что и послѣ этого еще продолжаютъ бурлить и клокотать въ его мощной груди чувства, которыя выражены ею,—подобно тому, какъ и послѣ бури еще реветь и шумѣть взолнованное море,—подобно тому, какъ послѣ разразившихся надъ нами ударовъ грома еще грохочутъ болѣе или менѣе отдаленные рассказы его.

Насъ могутъ спросить: естественна ли, правдоподобна ли такая возвышенная, такая гуманная рѣчь въ устахъ Тараса, который родился, выросъ, жилъ и дѣйствовалъ въ грубой, невѣжественной средѣ; который „весь созданъ былъ для бранной тревоги“; который всю жизнь свою совершенно отдавался военному дѣлу и провелъ въ кровавыхъ бояхъ; который, слѣдовательно, не могъ путемъ науки, путемъ образованія подняться до самыхъ свѣтлыхъ, до самыхъ священныхъ идей? Но, во-первыхъ, развѣ исто-

рія всего человѣчества не показываетъ памъ, какъ часто люди, могучіе духомъ, хотя и чуждые науки и образованія, являются гигантами по тѣмъ идеямъ, которыхъ они проповѣдуютъ и которыхъ они осуществляютъ своими дѣлами? Этихъ людей учитъ, образуетъ сама жизнь, которая служить источникомъ всякаго знанія, которая создаетъ науку, искусства и проч. Слѣдовательно—жизнь могла воспитать и озарить свѣтомъ самыхъ лучшихъ идей и могучаго духомъ Тараса. Во-вторыхъ, великая истини жизні, правда, такъ обширны, такъ возвышены и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ глубоки, что научно разсмотрѣть ихъ со всѣхъ сторонъ, исчерпать до дна можетъ развѣ только знаменитый философъ, — но въ то же время онъ такъ сродны натурѣ людей, такъ понятны имъ уму и сердцу, такъ просты и очевидны, что сами по себѣ, безъ анализа, въ своемъ ближайшемъ и непосредственномъ проявленіи, доступны и необразованному человѣку; подобно тому, какъ сдѣлать отчетливую, вѣрную и полную характеристику извѣстнаго героя въ состояніи развѣ только замѣчательный пеихологъ и мыслитель, — однако и невѣжественная толпа узнаетъ этого героя и поклоняется ему. Какимъ неизчерпаемымъ источникомъ служатъ изречения Спасителя, истини Евангелія для самыхъ возвышенныхъ философскихъ ученій! А между тѣмъ и простые, необразованные люди умиляются духомъ, слушая эти изречения,—и простые, необразованные люди чувствуютъ и понимаютъ, что говорятъ эти истини. Идеи Тарасовой рѣчи принадлежать къ великимъ истинамъ жизни, къ великимъ истинамъ Евангелія. Стало быть — совершенно возможно, что Тарасъ сувегновалъ сердцемъ и понималъ умомъ эти идеи въ ихъ простомъ видѣ.

Главная мысль Тарасовой рѣчи состоитъ въ томъ, что для товарищества, святѣе котораго нѣть узъ, нужно жертвовать всѣмъ, даже собственной жизнью своею. Эту мысль самъ же Тарасъ и доказалъ на дѣлѣ. Онъ всѣ личныя дѣла свои бросаетъ для товарищества; изъ за товарищества оставляетъ жену, отнимаетъ у нея сыновей, не смотря на все ея горе, на все ея муки и страданія; изъ за товарищества убивается роднаго сыпа — Андрея; въ самомъ Остапѣ сынъ поглощается у него истиннымъ казакомъ, какъ вѣрнымъ и доблестнымъ слугою товарищества. Но гдѣ же онъ жертвуетъ для товарищества самимъ собою? Нужно ли для этого лучшее доказательство, чѣмъ то великое, священное сраженіе подъ Дубною, къ которому Тарасъ готовился, какъ къ смерти,

за товарищѣй, и въ которомъ онъ бился съ величайшимъ само-  
отверженiemъ? Очевидно — нѣтъ. Тѣмъ не менѣе представимъ еще  
такое доказательство, предъ которымъ сей часъ указанное блѣд-  
нѣть. Какъ подъ Дубномъ ни изрубили Тараса враги его, однако,  
благодаря своей желѣзной натурѣ, онъ, проболѣвъ около двухъ  
мѣсяцевъ, остался живъ и здоровъ. Судьба еще берегла этого  
великаго, симпатичнаго, хотя въ то же время и ужаснаго, героя.  
Ему предстояло еще доказать свою высокую, самоотверженную  
любовь къ Остапу. Ему предстояло еще играть очень важную  
роль въ той спященной войнѣ, когда „поднялась вся нація, ибо  
переполнилось терпѣніе, — поднялась отомстить за посмѣяніе правъ  
своихъ, за позорное униженіе своихъ нравовъ, за оскорблѣніе вѣры  
предковъ и святаго обычая, за посрамленіе церкви, за безчинства  
чужеземныхъ пановъ, за угнетеніе, за унію, за позорное влады-  
чество жицвоства на христіанской землѣ, за все, что копило и  
сугубило съ давнихъ временъ суровую ненависть казаковъ“<sup>1</sup>).  
Тарасу предстояло еще продолжать съ своимъ полкомъ и многими  
другими казаками эту месть послѣ того, какъ все остальное огромное  
войско казацкое заключило съ поляками миръ. Еще много  
ужасныхъ подвиговъ предстояло въ это время Тарасу совершить,  
еще длинный кровавый путь предстояло ему проложить теперь  
въ Польшѣ. И только послѣ всего этого наступилъ его конецъ, —  
но такой славный конецъ! Пять вражескихъ полковъ неутомимо  
преслѣдуютъ Тараса съ его казаками, пока не настигаютъ ихъ.  
Истинно геройски защищаются казаки. Отчаянно пробиваются  
они сквозь непріятельскіе ряды. Уже близко ихъ спасеніе, ихъ  
торжество. Но Тарасъ и тутъ остается Тарасомъ; его чудная на-  
тура и тутъ проявляетъ себя, и тутъ освѣщаетъ себя. Въ то са-  
мое время, какъ быстрые кони казаковъ уже готовы совершенно  
умчать ихъ отъ враговъ, Тарасъ вдругъ останавливается и кри-  
читъ: „Стой! выпала люлька съ табакомъ; не хочу, чтобы и люлька  
досталась враждѣмъ ляхамъ!“ Тарасъ, по всейѣ вѣроятности, остан-  
овился бы и тогда, если бы замѣтилъ, что люлька выпала у  
другаго казака. Тарасъ такъ любитъ казаковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ  
и все принадлежащее имъ, такъ, поэтому, ненавидить ничего  
враждебнаго для нихъ, такъ вдобавокъ прямъ и упрямъ характеръ,  
что даже въ самую опасную минуту ни коимъ образомъ

<sup>4)</sup> Слова Гоголя.

не можетъ допустить, чтобы какая нибудь вещь казака попала въ руки его враговъ, тѣмъ болѣе такая вещь, какъ люлька, которая служитъ „неотлучной спутницей казака на моряхъ и на сушѣ, и въ походахъ, и дома“. И Тарасъ, нагнувшись, отыскиваетъ „въ травѣ свою люльку съ табакомъ“. Вотъ этамъ то временемъ набѣгаеть цѣлая ватага и схватываетъ его. Страшную, страшную казнь опредѣли Тарасу его враги. Они присудили „сжечь его живого въ виду всѣхъ. Тутъ же стояло голое дерево, вершину которого разбило громомъ.. Притянули его желѣзными цѣпями къ древесному стволу, гвоздемъ прибивши ему руки и приподнявъ его повыше, чтобы отовсюду былъ видѣнъ казакъ, и приналисъ тутъ же раскладывать подъ деревомъ костеръ!“ Но не даромъ проливается кровь человѣка, особенно такого человѣка, какъ Тарасъ. Смерть Тараса является алогеемъ его бытія, его любви къ товарищамъ, его славы; показывается, какъ ограниченный, смертный плотью бываетъ всемогущъ, безсмертенъ духомъ; показывается, что можно измучить, истерзать человѣка, лишить его свѣта жизни, но нельзя заставить его отказаться отъ своего я, нельзя лишить его внутренняго, нравственнаго свѣта, нельзя лишить его нравственного величія, нравственнаго героизма,—что въ то самое время, какъ онъ мученически умираетъ за свои великия идеи, эти послѣднія болѣе всего прославляются, остаются жить до скончанія вѣковъ и дѣлаются драгоценнѣйшимъ наследствомъ всѣхъ грядущихъ поколѣній. Тарасъ умираетъ за великую идею — умираетъ за вѣру и братьевъ своихъ по вѣрѣ. Мало этого! Въ тотъ самый моментъ, когда уже начипаются страшныя муки насильтвенной смерти, — Тарасъ не думаетъ объ этихъ мукахъ, объ этой смерти, а весь поглощенъ одной мыслію, одной тревогой, однимъ беспокойствомъ—спасутся-ли его товарищи, которые еще не попали, подобно ему, въ руки врага; напрягаетъ всѣ свои силы, чтобы въ послѣдній разъ, если не дѣломъ, то хоть словомъ послужить имъ; прикованный, пригвожденный подаетъ имъ съ ужасной высоты хорошие, разумные совѣты, приходитъ въ отчаяніе, полагая, что гибель ихъ неизбѣжна, и радуется, вида возможное для нихъ спасеніе. „Не на костеръ,—говоритъ авторъ,—глядѣть Тарасъ, не обѣ огнѣ онъ думалъ, которымъ собирались сжечь его,—глядѣть онъ, сердечный, въ ту сторону, где отстрѣливались казаки,—ему съ высоты все было видно, какъ наладони. „Занимайтесь, хлопцы, занимайтесь скорѣе“, кричалъ онъ, „горку,

что за лѣсомъ туда не подступить они!“ Но зѣтеръ не донести его словъ. „Вотъ прошадутъ, пропадутъ илъ за что!“ говорится онъ отчаянно и взглянулъ внизъ, гдѣ сверкаль Днѣстъ. Радость блеснула въ очахъ его. Онъ увидѣлъ выдвинувшися изъ-за бу-старника четыре корыши, собрать всю силу голоса и зычно закри-чалъ: къ берегу! къ берегу! хлопцы! спускайтесь подгорной до-рожкой, что на лѣво. У берега стоять члены, всѣ забирайте, чтобы не было погони. Вѣтеръ дунулъ съ другой стороны, и всѣ слова были услышаны казаками“. И этого мало! За свой, спаси-тельный для казаковъ, советъ Тарасъ получилъ такой ударъ обу-хомъ по головѣ, „который переворотилъ всѣ въ глазахъ его“. Какъ ни велико нравственное мужество Тараса, какъ ни сильна любовь его къ товарищамъ, какъ ни поражаютъ насъ сейчасъ разсмотрѣнные подвиги его,—однако мы полагаемъ, что, очнувшись отъ удара, онъ прежде всего долженъ ощущать боль, которая, разумѣется, слишкомъ чувствительна, должна быть занять только ею и больше ничѣмъ; что на этотъ разъ ужъ непремѣнно оста-вить его бодрость духа и уступить свое мѣсто немощамъ и страданіямъ плоти. На самомъ же дѣлѣ не такъ. Когда Тарасъ оч-нулся, онъ, какъ будто ничего особенного съ нимъ лично не случилось, думаетъ только о товарищахъ, устремляетъ взоры только туда, гдѣ они находятся, и видя ихъ уже спасенными, озаряется радостью... Уже большое разстояніе отдѣляетъ его отъ товари-щихъ. Но онъ все-таки кричитъ имъ въ верху: „Процайте, то-варищи! вспоминайте меня!..“ Такъ онъ рвется къ нимъ душою и сердцемъ. „Уже огонь подымался надъ костромъ, захватывалъ ноги Тараса и разостлался пламенемъ по дереву“. Но онъ среди огня, среди пламени, въ когтяхъ смерти говорить о торжествѣ казаковъ, предсказываетъ великое будущее русской православной вѣры и русского православнаго народа,—говорить о томъ, чѣмъ жилъ, дышалъ и за что умираетъ,—о томъ, что составляетъ единственную отраду, единственное утѣшеніе въ послѣднія тяже-лые минуты его жизни,—предсказываетъ то, что служило идеаломъ всѣхъ его желаній и конечной цѣлью всѣхъ его дѣйствій,—то, чего только и жаждеть душа его въ торжественный, священный мо-ментъ разлуки ея съ тѣломъ.

Гдѣ найти слова, которыми бы можно было достаточно оцѣ-нить все величие подвиговъ Тараса, все геройство его духа, всю силу, всю святость его любви? Мы воспользуемся только подлин-

ными словами Тараса. „Что взяли?“ спросилъ онъ у поляковъ, видя, что казаки, благодаря его совѣту и своей собственной неслыханной удали, вырвались почти изъ рукъ враговъ, которые были несравненно больше ихъ числомъ. „Что взяли?“ спросимъ и мы поляковъ вслѣдъ за Тарасомъ, имѣя въ виду исключительно его самого. Они лишили его возможности пальцемъ шевельнуть, сдѣлали его добычей смерти, бросили уже въ пасть ея, она уже терзала и пожирала его; а онъ все-таки еще продолжалъ служить тому, чему служилъ всю жизнь, бороться за ту идею, за которую боролся всю жизнь, спасать тѣхъ, которыхъ спасалъ всю жизнь. Они приковали, пригвоздили его къ дереву высоко, съ тою цѣлью, чтобы отсюду были видны, какъ имъ думалось, ихъ торжество и его позоръ; но этимъ они дали ему возможность спасти жизнь товарищѣй даже тогда, когда самъ онъ разставался съ жизнью, а вмѣсть съ тѣмъ способствовали ему подняться на поразительную высоту нравственнаго могущества, нравственнаго совершенства,— подняться на вершину славы. Они казнили его, какъ злѣйшаго изъ преступниковъ, но онъ умеръ, какъ великий страдалецъ за святую идею, которая вѣчно будетъ озарять міръ своимъ животворнымъ свѣтомъ. Они лишили его жизни плоти, но онъ въ это же самое время увѣнчался безсмертіемъ духа.

Вотъ каковъ Тарасъ, который, подобно фокусу, сосредоточивается въ себѣ всѣ существенные признаки запорожскихъ казаковъ, въ которомъ какъ хорошія, такъ и дурныя черты послѣднихъ достигаютъ высшей степени своего развитія, который является лушою и сердцемъ запорожцевъ, который служитъ живымъ носителемъ и выразителемъ идеи автора о запорожскомъ казачествѣ.

Анализъ жизни и дѣятельности Тараса, раскрывъ значеніе послѣдняго, какъ совершенѣйшаго типа запорожцевъ, выѣстъ съ тѣмъ показать и всю естественность, все правдоподобіе его. Но жизнь и дѣятельность всякаго человѣка проявляется среди природы и людей. Отсюда, воплощая идею свою въ извѣстномъ лицѣ, поэтъ-художникъ изображаетъ такія или иные отношенія даннаго лица въ природѣ и людямъ, съ тѣмъ, чтобы показать его характеръ въ наглядныхъ примѣрахъ, поступкахъ и дѣйствіяхъ, чтобы представить его вполнѣ реальному, живому. Все же это можетъ быть достигнуто лишь въ томъ случаѣ, когда естественность и правдоподобіе явятся отличительнымъ свойствомъ не только самого лица, воплощающаго идею автора, но и тѣхъ подробностей,

и тѣхъ лиць, которыми оно обставляется. А если такъ, то и намъ слѣдуетъ еще показать, что всѣ подробности, всѣ лица, которыми обставленъ Тарасъ, не менѣе естественны и правдоподобны, чѣмъ онъ самъ. Но что касается описанія украинской природы, Сѣчи, что касается характеристики польского и запорожского войска, то для всякаго, кто только знакомъ съ географіей и исторіей, слишкомъ ясно, какую дѣйствительность представилъ здѣсь Гоголь въ поэтическомъ образѣ. Остается только разсмотрѣть лица, которыми окружены Тарасъ. Но одни изъ этихъ лицъ, а именно— принадлежащіе казацкой средѣ, достаточно уже освѣщаются всѣмъ тѣмъ, что мы говорили о запорожскомъ казачествѣ вообще и о Тарасѣ Бульбѣ, какъ типѣ запорожскихъ казаковъ, въ частности. Кто, прослѣдивъ вмѣстѣ съ нами все это, не узнаетъ, напримѣръ, въ Мосії Шилѣ, Кукубенкѣ, Бовдюгѣ, Остапѣ и другихъ сыновья Сѣчи, членовъ запорожской общины, запорожской семьи? Кто, кроме того, не узнаетъ въ Кукубенкѣ прекраснѣйшаго изъ сыновъ этой Сѣчи, лучшаго изъ членовъ этой общины, этой семьи? Кто не узнаетъ въ Бовдюгѣ казака, умудренного, просвѣтленнаго многолѣтней тяжелой жизнью для ближняго, долгой, кровавой борьбы за вѣру и товарищей? Кто не узнаетъ въ Остапѣ достойнѣйшаго потомка Тараса? Другія изъ лицъ, окружающихъ Тараса, какъ жиды и поляки, сами по себѣ являются слишкомъ старыми, слишкомъ обыкновенными знакомыми, чтобы еще нужно было доказывать возможность ихъ существованія. Кому, напримѣръ, не знакома жалкая личность Янкеля? Нѣтъ даже нужды втрѣваться съ нимъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, при которыхъ онъ представляется въ повѣсти. Достаточно видѣть его въ тюрьмѣ, гдѣ онъ является вмѣстѣ съ Тарасомъ. И здѣсь можно ограничиться однимъ лишь моментомъ, тѣмъ именно моментомъ, когда Тарасъ, выбравши гайдука за его оскорбительныя для казаковъ и ихъ вѣры слова, лишается возможности видѣть Остапа, и только благодаря ста червонцамъ, которыми Янкель подкупаетъ стражу, послѣдній не выдаетъ ихъ головою, а прогоняетъ отъ себя прочь. Всякий, мысленно созерцающій данную сцену, увлекаясь сначала комизмомъ ея, вслѣдъ затѣмъ невольно проникается жалостью къ несчастному отцу, который столько жертвовалъ собою, столько рисковалъ, чтобы послѣдній разъ въ жизни увидѣть资料его дорогоаго сына, и все-таки не достигъ этой завѣтной цѣли своей. Янкель же едва замѣчаетъ отцовское горе, едва трогается этимъ

горечъ. Онъ главнымъ образомъ сокрушается о ста червонцахъ, которые такъ легко достались гайдуку. „Охъ ней миръ — восклицаетъ Янкель — какое счастіе посыпаетъ Богъ людямъ! Сто червонцевъ за то только, что прогналъ насть! А нашъ братъ: ему и пейсаки оборвутъ, и изъ морды сдѣлаютъ такое, что и глядѣть не можно, а никто не дастъ ста червонныхъ. О Боже мой! Боже милосердый“ \*).

Въ этомъ одномъ видѣть весь Янкель, въ этомъ одномъ слышится вся печальная исторія его существованія. А гайдукъ, напримѣръ, развѣ намъ не знакомъ? Развѣ мы не понимаемъ этого глупаго, невѣжественнаго, узкаго эгоиста, который самъ себѣ придаетъ смѣшной видъ, съ цѣлью казаться сановитымъ и представительнымъ; который грубѣйшую лесть принимаетъ за чистую правду — и отъ кого же принимается? отъ презираемаго пимъ жида, — который раболѣпенъ и льстивъ по отношенію къ высшимъ, жестокъ и надмѣненъ относительно другихъ, особенно зависящихъ отъ него въ чёмъ-нибудь, который также злоупотребляетъ своей службой, также продаженъ, какъ и его начальники? Гоголь только разъ показалъ намъ гайдука, но этотъ послѣдній стоитъ предъ нами какъ живой. Поэтъ, словно волшебникъ, однимъ взмахомъ своей чудной кисти создаетъ лица, вполнѣ вѣрныя действительности.

И такъ — ни лица, взятыя изъ казацкой среды, ни лица, взятыя изъ польской и жидовской среды, не нуждаются въ анализѣ, для выясненія ихъ жизненности и правдоподобія. А кроме тѣхъ и другихъ лицъ никто не окружаетъ Тараса въ повѣсти.

Только два лица составляютъ исключеніе, только два лица вызываютъ на то, чтобы о нихъ поговорить отдельно, хотя и они принадлежатъ къ той же казацкой средѣ.

Однимъ изъ этихъ лицъ является жена Тараса. Она является такимъ лицомъ потому, что въ сейчасъ сказанной средѣ занимаетъ особенное положеніе. Но авторъ такъ прямо, такъ ярко осмыкаетъ данную личность, ея тяжелую судьбу, ея жалкое положеніе, ея безконечную любовь къ дѣтямъ, ея безъисходное горе при разлукѣ съ ними — все это изображаетъ такими краснорѣчивыми, такими священными, такими трогательными словами, что намъ ничего лучшаго не остается, какъ только буквально перенести.

\*) Слова Гоголя.

дать его же собственную рѣчъ о ней. Показывая, какъ болно отозвалось въ душѣ ея то, что Тарасъ рѣшилъ увезти сыновей на другой же день послѣ ихъ пріѣзда домой, авторъ выражается слѣдующимъ образомъ: „услыша о такомъ страшномъ для нея рѣшеніи, она не могла удержаться отъ слезъ; взглянула на дѣтей своихъ, съ которыми угрожала ей такая скорая разлука, и никто бы не могъ описать всей безмолвной силы ея горести, которая, казалось, трепетала въ глазахъ ея и въ судорожно сжатыхъ губахъ“. Затѣмъ, представляя, какъ она бодрствовала и сокрушилась всю ночь наканунѣ отѣзда сыновей, высказавъ предварительно, для того, чтобы еще болѣше оттѣпить ея печальное положеніе, что въ эту же ночь всѣ прочіе на хуторѣ Тараса объяты были глубокимъ, безмятежнымъ сномъ, авторъ развертываетъ предъ нами слѣдующую, въ высшей степени трэгательную, въ высшей степени умильительную картину. „Одна бѣдная мать, говорить онъ, не спала. Она приникла къ изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ; она расстесывала гребнемъ ихъ молодыя, небрежно всклокоченные кудри и смачивала ихъ слезами; она глядѣла на нихъ вся, глядѣла всѣми чувствами, вся превратилась въ одно зрѣніе и не могла паглядѣться. Она вскормила ихъ собственою грудью; она возрастила, вздѣляла ихъ — и только на одинъ мигъ видѣть ихъ предъ собою! „Сыны мои, сыны мои милые! что будетъ съ вами? что ждетъ васъ?“ говорила она, и слезы остановились въ морщинахъ, измѣнившихъ прекрасное когда-то лицо ея. Въ самомъ дѣлѣ, она была жалка, какъ всякая женщина того удалого вѣка. Она мигъ только жила любовью, только въ первую горячку страсти, въ первую горячку юности, и уже суровый прельститель ея покидалъ ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видѣла мужа въ годь два-три дня, и по томъ нѣсколько лѣтъ о немъ не было слуха. Да и когда видѣлась съ нимъ, когда они жили вмѣстѣ, что за жизнь ея была? Она терпѣла оскорблѣнія, даже побои; она видѣла ласки, оказываемыя только изъ милости; она была какое-то странное существо въ этомъ сборищѣ безжennыхъ рыцарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колоритъ свой. Молодость безъ наслажденія мелькнула передъ нею, и ея прекрасныя свѣжія щеки и перси безъ лобзаній отцаѣли и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, всѣ чувства, все, что есть пѣжнаго и страстнаго въ женщинѣ, все обратилось у нея въ одно материин-

ское чувство. Она съ жаромъ, съ страстью, со слезами, какъ стенная чайка, вилась надъ дѣтьми своими. Ея сыновей, ея миныхъ сыновей берутъ отъ нея, берутъ для того, чтобы не увидѣть ихъ никогда! Кто знаетъ? можетъ быть, при первой битвѣ татаринъ срубить имъ головы, и она не будетъ знать, гдѣ лежать брошенныя тѣла ихъ, который расклюетъ хищная подорожная шипца, а за каждую каплю крови ихъ она отдала бы себя всю. Рыдая, гладѣла она имъ въ очи, когда всемогущій сонъ начинай уже смыкать ихъ, и думала: „Авось — либо Бульба, проснувшись, отсрочить денька на два отъѣздъ; можетъ быть, она задумалъ оттого такъ скороѣхать, что много выпилъ“.

„Мѣсяцъ съ вышини неба давно уже озарилъ весь дворъ, наполненный сияніемъ (обитатели хутора спали въ ту ночь на дворѣ), густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, въ которомъ потонулъ частоколь, окружавшій дворъ. Она все спѣла въ головахъ миныхъ сыновей своихъ, ни на минуту не сводила съ нихъ глазъ и не думала о снѣ. Уже кони, чуя разсвѣтъ, всѣ полегли на траву и пересталиѣть; верхніе листья вербъ начали лепетать, и, мало-по-малу, лепечущая струя спустилась по пнямъ до самаго низа. Она просидѣла до свѣта, вовсе не утомилась и внутренно желала, чтобы ночь протянулась какъ можно дольше“.

А какъ передаетъ авторъ прощеніе ея съ дѣтьми?! Послѣдня надежда ея, что „авось — либо Бульба отсрочить денька на два отъѣздъ“, не сбывается. Едва почная тьма смѣняется утреннимъ разсвѣтомъ, а ужъ Тарасъ встаетъ и приказываетъ немедленно собираться въ дорогу. Остапъ и Андрей замѣняютъ прежнєе бурсацкое платье живописнымъ казацкимъ парядомъ. Они явлюются предъ матерью въ полномъ блескѣ своей мощной, спѣжей, цветущей, юной красы. Это должно наполнить материнское сердце радостью, счастьемъ, гордостью. Но „блѣдная мать, слышимъ изъ устъ автора, какъ увидѣла ихъ, и слова не могла промолвить, и слезы остановились въ глазахъ ея<sup>1</sup>. То, что даетъ ей блаженство, вмѣстѣ съ тѣмъ причиняетъ невыразимыя муки, невыразимыя страданія. Съ такими прекрасными, съ такими миными сыновьями должна она разстаться,—разстаться, очень можетъ быть, па вѣки—и разстаться сейчасъ же! Вотъ ужъ Тарасъ заторопилъ своихъ дѣтей, заторопилъ и ее благословить ихъ. „Мать, говоритъ авторъ, слабая какъ мать, обняла ихъ, выпула двѣ небольшія иконы, наѣла имъ, рыдая, на шею. Пусть хранятъ васъ... Божья Матерь...“

не забывайте, сыночи, мать вашу... примилите хоть вѣсточку о себѣ... далѣе она не могла говорить". Можемъ ли самое сильное, самое живое воображеніе измѣрить всю глубину той материнской любви и той материнской скорби, которая проявляются въ этихъ немногихъ простыхъ словахъ, прерываемыхъ и заглушаемыхъ рыданіями? Какъ непродолжительна та сценка, которая сейчасъ мелькнула предъ нами! Еще менѣе продолжительной казалась она бѣдной матери, по тому времени, которое ей пришлось держать въ своихъ объятіяхъ дорогихъ сыновей. Но какой безконечной казалась эта же самая сценка несчастной матери, по тѣмъ чувствамъ, которыя послѣдняя испытала въ продолженіи ея! А что было потомъ? „Когда увидѣла мать, сообщаетъ авторъ, что уже и сыны ея (всльдъ за Тарасомъ) сѣли на коней, она кинулась къ меньшому, у которого въ чертахъ лица выражалось болѣе какой-то вѣжности; она схватила его за стремя, она приплила къ сѣдлу его и, съ отчаяньемъ въ глазахъ, не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два дюжихъ казака взяли ее бережно и унесли въ хату. Но когда выѣхали они за ворота, со всею легкостью дикой козы, не-сообразно лѣтамъ, выбѣжала она за ворота, съ неостоихимъ сидю остановила лошадь и обняла одного изъ сыновей съ какою-то помышленною, безчувственною горячностью. Ее опять увели".

Кто послѣ всего этого не согласится съ нами, что хотя авторъ представилъ намъ жену Тараса только какъ мать, и то при одномъ лишь обстоятельствѣ ея жизни, однако тутъ же познакомилъ насъ съ нею настолько именно, насколько нужно, чтобы она способствовала собою реальному, живому представлению главного лица произведенія и чтобы въ ея собственномъ лицѣ изобразить типъ украинскихъ женщинъ того времени? У кого она, вмѣстѣ съ тѣмъ, не отпечатлется глубоко въ душѣ, какъ живое, безмѣрно любящее, безмѣрно страдающее лицо? Кто равнодушно выслушаетъ всю плачевную исторію ея жизни? Кто не проникнется благоговѣніемъ къ ея святымъ материнскимъ чувствамъ? Кто не отзовется на ея горе, одинъ мигъ котораго равняется вѣчности? Чье сердце не исполнится жалости, состраданія къ ней? Кто забудетъ весь ея печальный, трогательный образъ?

Другимъ лицомъ, вызывающимъ на то, чтобы его разсмотретьъ отдалено, служить Андрей. Послѣдній вызываетъ на сейчасъ сказанное еще болѣе, и гораздо болѣе, чѣмъ то лицо, съ которымъ мы только-что покончили. Онъ легко возбуждаетъ собою

следующие вопросы: казаки, отдаваясь всецело кровавой борьбе за вѣру и товарищай, такъ препебрегали женщиной,—мыслимо же-ли, чтобы среди нихъ явился казакъ, который, наоборотъ, изъ-за женщины измѣнилъ вѣрѣ и товарищамъ, и при томъ изъ-за женщины вражескаго, ненавистнаго племени? Тарасъ является лучшимъ представителемъ казаковъ, возможно-ли, чтобы такимъ измѣникомъ еще оказался его сынъ? И вотъ, разсмотрѣвъ природныя черты Авдrea и всѣ тѣ главныя обстоятельства, которыхъ вліяли на его жизнь до роковой измѣны, мы и получимъ отвѣтъ на эти вопросы.

Какъ казакъ вообще, какъ сынъ Тараса въ частности, Андрей наслѣдовалъ стремленія къ боевой жизни, жажду ратныхъ подвиговъ, ревность служить вѣрѣ и товарищамъ,—но въ то же самое время, какъ сынъ своей матери, былъ доступенъ и другимъ чувствамъ. Между тѣмъ — прежде чѣмъ предъ нимъ открылось поле для ратныхъ подвиговъ, прежде чѣмъ онъ успѣлъ отданыи служенію вѣрѣ и товарищамъ,—имъ овладѣло то именно чувство, котораго такъ опасались казаки, которое прирождено всѣмъ людямъ, которое такъ неизбѣжно, такъ обворожительно для каждого человѣка, — овладѣло чувство любви къ женщинѣ. „Потребность любви, говоритъ авторъ, вспыхнула въ немъ живо, когда онъ перешелъ за восемнадцать лѣтъ (т.-е. еще за два года до окончанія курса въ Кіевской академіи); женщина чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его; онъ, слушая философскіе диспуты, видѣлъ ее поминутно свѣжую, черноокую, нѣжную; передъ нимъ безпрерывно мелькали ея сверкающія, упругія перси, нѣжная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокругъ ея дѣйственныхъ и вмѣстѣ мощныхъ членовъ, дышало въ мечтахъ его какимъ-то невыразимымъ сладострастіемъ. Онь тщательно скрывалъ отъ своихъ товарищай эти движенія страстной юношеской души, потому что въ тогдашній вѣкъ было стыдно и безчестно думать казаку о женщинѣ и любви, не отвѣдавъ битвы“. Воспламенившіяся въ душѣ Андрея естественная стремленія къ женщинѣ соотвѣтствовали всей его натурѣ, которая, какъ мы уже видѣли выше, когда говорили объ отношеніяхъ къ нему Тараса, была такая сильная, мощная и вмѣстѣ съ тѣмъ такая страстная, вспучая, увлекающаяся. Эти стремленія свои онъ долженъ былъ скрывать, какъ запрещенные, преступныя, и потому они еще болѣе жгли его. Но какъ ни сильны были страст-

ная движенија сердца Андрея до встречи его съ той, которая имѣла для него такое роковое значеніе,—движенија эти еще сильнѣе—несравненно сильнѣе стали послѣ данной встречи. Идеалъ, возникшій въ воображеніи Андрея и наподнявшій собою всѣ его мечты, соотвѣтствовалъ, конечно, тѣмъ лучшимъ красавицамъ, которыхъ ему раньше приходилоось видѣть на своей прелестной родинѣ. Однако, незнакомка, которую онъ встрѣтилъ теперь, во время своихъ невольныхъ исканій идеала, была еще лучше, еще краше этого послѣдняго. „Онъ увидѣлъ, говоритъ авторъ про Андрея, такую красавицу, какой еще не видывалъ отъ роду: черноглазую и блѣду, какъ снѣгъ, озаренный утреннимъ румянцемъ солнца. Она сминалась (въ то время, когда онъ увидѣлъ ее) отъ всей души, и смыхъ придавалъ сверкающую силу ея ослѣпительной красотѣ“. А если такъ, то само собою разумѣется, что вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ Андрей увидѣлъ свою небыvalую красавицу, увеличились и мощь, и жгучесть его сердечныхъ движениј. Главное же—прежде чѣмъ онъ увидѣлъ ее, для него не было опредѣленного образа, къ которому бы прямо направились бурныя влеченија его сердца, на которомъ бы сосредоточивались его горячія желанія, около котораго вились бы его беспокойныя мысли, который бы разжигалъ, плѣнилъ его и манилъ къ себѣ,—не было живого существа, отъ котораго бы жаждущее любви сердца могло ожидать себѣ отвѣта, сочувствія, которое бы въ состояніи было дать счастіе, радость, наслажденія, блаженство: теперь же такой образъ — образъ чудный, очаровательный—на лицо,—теперь же такое существо—существо прелестное, восхитительное—предъ глазами. Сколько же поэтому силы, энергіи, горячности, огня должна была прибавить встречи Андрея съ дивной красавицей всѣмъ страстнымъ движениямъ его души и сердца! И дѣйствительно! Андрей весь окwałечилъ пламенемъ любви, пламенемъ страсти, весь плѣненъ своей обворожительной незнакомкой. Онъ съ трудомъ узнаетъ, кто она. Оказывается, между прочимъ, что она полька. Но всѣ струны сердца его такъ сильно звучать любовью, страстью къней, такъ заглушаютъ въ немъ все остальное, что онъ рѣшительно не замѣчаетъ этого посѣдняго обстоятельства. Тѣмъ болѣе, что въ данное именно время не слышно браны между казацкимъ племенемъ и польскимъ. Все вниманіе Андрея, когда онъ узнаетъ, кто его незнакомка, поглощается лишь тѣмъ, что она свободна, не замужемъ, и что она стала для него извѣстна, — она, которая,

словно чудесное видѣніе, явилась предъ нимъ къ такомъ поразительномъ съѣтѣ. Онь теперь знаеть, что можегъ къ ней стремиться, и знаеть, къ кому именно стремиться. И опь рвется къ пей всѣми силами своей мощной, страстной, кипучей души. Для того, чтобы увидѣть свою чудную красавицу еще разъ и хоть скольконибудь познакомиться съ ней, Андрей учинаетъ такой безразсудный, такой опасный поступокъ, на который способна вызвать одна только жгучая, пламенная, непобѣдимая страсть. А что дѣлается съ нимъ, когда ему удается такимъ образомъ попасть въ своей волшебной красавицѣ? Какое новое очарованіе овладѣваетъ имъ въ это время? Какъ она своими легкомысленными шалостями раздуваетъ и безъ того сильную пламень его любви, его страсти къ ней? Онъ видитъ ее еще разъ другою, но за тѣмъ его милая, его дорогая для него исчезаетъ. Проходитъ больше двухъ лѣтъ, а онъ все еще помнить ее. Прощаніе съ матерью, предъ отѣзdomъ въ Сѣчи, до слезъ растрогало Андрея; однако, дорогою онъ думаетъ не о матери, и не о предстоящей ему новой жизни и дѣятельности, а только о ней, о прекрасной полячкѣ. Бурная жизнь и удалыя потѣхи казаковъ, во время пребыванія ихъ въ Сѣчи, приходится Андрею по душѣ и увлекаютъ его собою. Но болѣе всего соответствуетъ его мощной, страстной, кипучей, увлекающейся натурѣ дѣло ратное. Вотъ какъ это послѣднее плѣняло его собою, вотъ въ какое восхищеніе, въ какое изстupленіе оно приводило его! „Андрей, передаетъ авторъ, весь погрузился въ очаровательную музыку пуль и мечей. Онъ не зналъ, что такое значить обдумывать, или разсчитывать, или измѣрять заранѣе свои и чужія силы. Бѣшеную нѣгу и упоеніе онъ видѣлъ въ битвѣ: что-то пиршественное зрелось ему въ тѣ минуты, когда разгорится у человѣка голова, въ глазахъ все мелькаетъ и мѣшается, летятъ головы, съ громомъ падаютъ на землю кони, а онъ несется, какъ пьяный, въ свистѣ пуль, въ сабельномъ блескѣ, и наносить всѣмъ удары, и не слышать нанесенныхъ“. Однако, вытѣсило ли все это изъ души Андрея прекрасный, чудный, милый, дорогой образъ полячки? Та или другая идея до того увлекаетъ человѣка, до того овладѣваетъ имъ, что всѣ его силы и способности, весь жаръ его души, всѣ его горячія чувства, всѣ его страстныя желанія обращаетъ на служеніе себѣ. Онъ посвящаетъ этой идеѣ все свое бытіе, все свое я, въ ней одной видѣть онъ радость, счастіе, блаженство, изъ-за нея отказывается

онъ отъ самыхъ сладкихъ. отъ самыхъ обольстительныхъ восторговъ и утѣхъ любви, она тушить въ немъ самое сильное пламя. послѣдней, она сама становится его возлюбленной, его милой, его дорогой, она къ себѣ самой возбуждаетъ жгучую, безпредѣльную любовь, страсть, для нея онъ жертвуетъ всѣмъ, всѣмъ, даже самой жизнью своею. Такъ, напримѣръ, увлекались и увлекаются идеей проповѣдники христіанской любви, христіанского милосердія,—любители науки, искусствъ,—защитники вѣры, отечества,—борцы за правду, за человѣческое достоинство,—вообще посвятившіе себя служенію всему истинному, всему прекрасному, всему добруму. Такъ ли-же Андрей увлекается ратнымъ дѣломъ? Изъ приведенныхъ словъ автора о чудномъ дѣйствіи битвы на Андрея видно только, что его воспламеняетъ, обольщаетъ, опьяняетъ самый процессъ ея—ея ужасный, адскій хаосъ, ея дикая, сатанинскія прелестъ, ея бурное, бѣшенное очарованіе,—но не видно, чтобы онъ проникся, пленился, вдохновился идеей, во имя которой она происходитъ. Правда—онъ изъ за этой же идеи и сражается; однако, не она кипятитъ и волнуетъ всю его кровь, не она потрясаетъ всѣ его нервы, не она служить причиной его восторга, его упоенія. Такое дѣйствіе производить на него только само сраженіе. Онъ подчиненъ, послушенъ данной идеѣ, но не страстно преданъ ей. Она является его госпожей, которой онъ пока служить вѣро; искренно—и только, но не возлюбленной, которой бы онъ жилъ и дышалъ, которой бы служилъ съ горячей страстью, съ трепетнымъ волненіемъ, съ сладостнымъ восторгомъ, къ которой бы неудержимо рвались всѣ силы его души и сердца, для которой бы ему казалось мало отдать всю жизнь, изъ-за которой бы онъ жаждаль утонуть въ блаженствѣ самоотверженія. Между тѣмъ — если бы, кромѣ обворожительного дѣйствія боя на Андрея, имъ владѣла вполнѣ сейчасъ сказанная идея, еслибы она всецѣло господствовала въ его сердцѣ,—то онъ и послѣ сраженія остался бы очарованнымъ, ничему, кромѣ того, что влекается ея, недоступнымъ. Она изгнала бы изъ его души все враждебное себѣ и охраняла бы, ограждала бы его отъ всего этого. Совсѣмъ же другое дѣло, когда эта идея не царитъ надъ нимъ: когда она не наполняетъ собою всей его жизни, когда онъ увлекается, разгорается до забвенія всего только самымъ ураганомъ битвы. Въ такомъ случаѣ, съ прекращеніемъ послѣдней, кончается для Андрея и то восторженное, изступленное состояніе духа, въ

которомъ онъ находился во время ея продолженія и которое дѣлало его чужынмъ для всего остального міра. Отсюда само собою разумѣется, что какъ бы ни увлекала, ни воспламеняла Андрея битва, она все-таки не въ состояніи была совершенно потушить тѣ чувства, которыя еще раньше всыхнули въ немъ съ такою могучею силой, которая охватили его всего, которая уже больше двухъ лѣтъ жили въ его сердцѣ, волновали его душу и не давали ему покоя. Страстныя волненія, которыя испытывалъ Андрей подъ влияніемъ битвы, только заслоняли, заглушали собою эти чувства, но не уничтожили, не искоренили ихъ совершенно. Правда — и послѣ сраженія Андрей далеко не былъ свободенъ отъ обаянія послѣдняго: его томила жажда снова упиться восторгомъ на страшномъ, кровавомъ и тѣмъ не менѣе чудномъ, обольстительномъ пирѣ войны. Но это еще менѣе могло истребить прежнія чувства Андрея, еще менѣе и заслоняло, заглушало ихъ собою. Проводи Андрей дальнѣйшую жизнь свою въ сраженіяхъ за вѣру и товарищѣй, не буди, не разжигай никто и ничто его прежнихъ чувствъ, — то эти послѣднія навѣрное бы рано или поздно совершенно заглохли и замерли, а идея, во имя которой казаки сражались, все болѣе и болѣе овладѣвала бы его душою и сердцемъ, пока онъ не сталъ бы ея горячимъ, страстнымъ поклонникомъ, подобно своему родному отцу и другимъ вѣрнымъ сынамъ Сѣчи, достойнымъ членамъ запорожской общины. Но случилось совсѣмъ иначе. Андрей только что началъ служить вѣрѣ и братьямъ по вѣрѣ. Его прежняя любовь, его прежняя страсть, чудный образъ его милой, воспоминанія ея очаровательныхъ прелестей еще живы въ немъ, хотя и таятся, хотя и скрываются въ глубинѣ его души. Ослѣпленный, оглушенный боевой жизнью, онъ не видить и не слышать ихъ. Но при всякомъ удобномъ случаѣ они безпокоятъ и волнуютъ его, хотя и теперь онъ ихъ не узнаетъ. Такъ они тревожатъ его во время томительного бездѣйствія при осадѣ Дубна. „Чудная Іюльская ночь“, въ свою очередь, будить въ немъ любовь, страсть, нѣгу, будить въ немъ желанія жить и наслаждаться. А то „величественное и грозное, которое представляется заревомъ вдали догоравшихъ окрестностей“ и которое „примѣшивается къ красотѣ Іюльской ночи“, еще болѣе усиливаетъ собою возбужденіе состояніе духа Андрея; еще болѣе беспокойными дѣлаетъ его внутреннія волненія. Въ это время является предъ нимъ такое страшное существо, что оно кажется ему привидѣніемъ, нечистымъ

духомъ. Еще и еще болѣе возбужденъ Андрей, еще и еще болѣе взолнованъ онъ. Празракъ, который представляется ему, оказывается татаркой, служанкой обворожившей его панночки. Но это уже совершенно потрясаетъ его. Онъ почти задыхается отъ волненія. Онъ узнаетъ отъ служанки, что прекрасная полячка въ осажденномъ городѣ, что она еще не замужемъ, что ей угрожаетъ мучительная голодная смерть, что она обращается къ нему за кускомъ хлѣба — не для себя, а для своей матери, что она желаетъ его видѣть, что она зоветъ его къ себѣ... А для того, чтобы онъ могъ проникнуть къ ней въ осажденный городъ, она рѣшилась даже открыть ему черезъ свою служанку тайну ведущаго туда подземнаго хода. „И все минувшее, говоритъ авторъ, все, что было заглушено нынѣшними казацкими биваками, суровой бранной жизнью, все всыпало разомъ на поверхность, потопивши, въ свою очередь, настоящее. Опять выпирнула передъ нимъ гордая женщина; вновь сверкнули въ его памяти прекрасныя руки, очи, смыюющіяся уста, густые темно-орѣховые волосы, курчаво распавшіеся по грудямъ, и все упругіе, въ согласномъ сочетаніи созданные члены дѣвическаго стана. Нѣтъ, они не погасали, не исчезали изъ груди его, они посторонились только, чтобы дать на время просторъ другимъ могучимъ движеніямъ; но часто, часто смущался ими глубокій сонъ молодаго казака, и часто, проснувшись, лежалъ онъ безъ сна на одрѣ, не умѣя истолковать тому причины“. Но слова поднявшіяся въ душѣ Андрея дивный, очаровательный образъ полячки теперь еще глубже волнуетъ весь его внутренній міръ, еще самовластнѣе распоряжается всѣми его силами и способностями; ставшая опять предъ нимъ гордая, чудная красавица теперь еще большее обаяніе производить на него, еще сильнѣе влечетъ его къ себѣ. Встрѣча и знакомство Андрея съ панночкой въ Киевѣ были такъ мимолетны. Кромѣ легкомысленной, вѣтреной, чисто дѣтской шалости, панночка никакой близости не обнаружила тогда по отношенію къ Андрею, ничѣмъ не заронила въ душу его надежды на взаимность и нималѣйшаго доступа къ себѣ не указала его любви, его страсти. Теперь же, въ самое серьѣзное, въ самое ужасное для ея время, она обращается къ нему, какъ къ человѣку, близкому ей. — обращается къ нему, не смотря на то, что онъ въ лагерь заѣвшихъ и опаснѣйшихъ врага всего ея рода и племени, — она, открывая ему подземный ходъ, отдаетъ въ его руки свою собственную судьбу и судьбу всѣхъ дорогихъ

ея сердцу; — и это она дѣлаетъ для того, чтобы увидѣться съ нимъ! Сколько же новой пищи дано теперь его любви! Какой широкій просторъ открытъ теперь для всѣхъ страстныхъ движений его сердца! Паничка теперь въ несчастіи. Но очутился злѣйший нашъ врагъ въ бѣдѣ, мы невольно тронемся его участію, невольно простимъ ему многое, если только у насъ живо истинно человѣческое чувство. Какъ же должно отзываться въ сердцѣ Андрея горе той, которая для него дороже жизни! Паничку мучить, терзаетъ голодъ. Какъ же не сиѣшь Андрею къ ней на помощь! Вѣдь, опь и безъ того желать бы скорѣе мысли перелѣтѣть къ ней! Татарка, прежде чѣмъ указать подземный ходъ Андрею, требуетъ отъ него обѣщанія, что онъ не употребитъ данного открытия во вредъ полякамъ. Андрей тотчасъ же горячо клянется ей въ этомъ „крестомъ святымъ“. Напрасно требование, напрасна клятва. Андрею и въ голову не приходитъ воспользоваться подземнымъ ходомъ для какой-нибудь другой цѣли, кроме той, съ которой послѣдній ему указанъ. Образъ панички вытѣсняетъ изъ души Андрея все, заслоняетъ отъ него весь міръ. Андрей совершенно поглощенъ мыслю, какъ бы скорѣе увидѣть паничку, какъ бы скорѣе подать ей помощь. При этомъ самый образъ панички до того сосредоточивается на себѣ всѣ силы его души, до того волнуетъ его, до того кружить ему голову, что онъ даже забываетъ, куда и зачѣмъ идетъ. А когда память возвращается къ нему, онъ весь исполняется ужаса, искуга: ему вдругъ приходитъ на мысль, что паничка умираетъ съ голода. Пожираемый нетерпѣніемъ, дрожа отъ волненія, Андрей отыскиваетъ на возахъ и между возами лучшей провизіи и набираетъ ея столько, сколько можетъ понести. Въ это время чуть не помѣшили всѣмъ его намѣреніямъ Остапъ и Тарасъ, которыхъ онъ невольно разбудилъ, но которые тѣтъ часть же опять заснули, — и возможность отправиться къ паничкѣ съ провизіей кажется ему еще большими счастіемъ. Вѣѣтъ съ татаркой идетъ Андрей подземнымъ ходомъ въ городъ. Таинственность и суровая мрачность „земляного коридора“, гробы, виднѣющіеся въ стѣнахъ его, кости человѣческія, попадающіеся на пути, — все это сильно дѣйствуетъ на взволнованную душу Андрея. Подземный ходъ приводитъ Андрея къ монастырской церкви. Андрей подъ высокими сводами послѣдней. Здѣсь его невольно трогаетъ печальный, изнуренный видъ молящихся; здѣсь онъ невольно умилиется

возвышенной молитвой священника; здесь онъ поражается чуднымъ свѣтомъ, впезапно озарившимъ всю церковь; здесь—наконецъ, онъ очаровывается величественной, небесной музыкой, дивно оглашающей храмъ. Вмѣстѣ же съ тѣмъ Андрей невольно чувствуетъ, что у враговъ его, которыхъ онъ до сихъ поръ такъ презиралъ, есть много хорошаго, много прекраснаго. А какъ поражаютъ впечатлительнаго Андрея ужасныя жертвы голода, которые вслѣдъ затѣмъ опадаютъ ему въ городѣ почти на каждомъ шагу! Еслибы вообще люди, враждующіе между собою, могли проникнуть другъ другу въ душу и видѣть все, что каждый изъ нихъ переживаетъ во время распри, то очень часто даже злѣйшіе враги исполнились бы взаимнаго уваженія, тронулись бы взаимнымъ горемъ и стали бы хорошими друзьями. Еслибы въ частности тотъ или другой воинъ перенесся къ своимъ непріятелямъ, замѣтилъ бы между ними добрая и прекраснія человѣческія мысли, чувства и дѣйствія, видѣлъ бы вслѣдъ страшныя жертвы кровавой браніи,—то будь онъ даже самыи ярыи ненавистникомъ тѣхъ, противъ кого сражается, все-таки его презрѣніе, злоба и вражда относительно ихъ замѣнились бы уваженіемъ, состраданіемъ и участіемъ къ нимъ. Подобное же случилось и съ Андреемъ. „При видѣ поражающихъ свидѣтельствъ голода, говоритъ авторъ, Андрей не вытерпѣлъ не спросить татарку:—Неужели они (т. е. жертвы голодной смерти) однажды совсѣмъ не напили, чѣмъ пробавить жизнь? Если человѣку приходить послѣдняя крайность; тогда, дѣлать нечего, онъ долженъ пить тѣмъ, чѣмъ дотолѣ брезгалъ: онъ можетъ пить тѣми тварями, которыя запрещены закономъ, все можетъ тогда пойти въ снѣдь“. Въ этихъ словахъ слишкомъ ясно выражается и уваженіе, и состраданіе, и участіе Андрея къ врагамъ. Кромѣ того, самая любовь Андрея къ панночкѣ должна была окрасить собою всѣ его мысли и чувства относительно поляковъ—ежъ соцеменниковъ. Во всякомъ случаѣ—послѣдніе не могутъ сдерживать его сердечныхъ порывовъ даже въ тѣ моменты, когда онъ еще только приближается къ дому, гдѣ живетъ его малая. Тѣмъ же менѣе могутъ они сдерживать эти сердечные порывы его въ то время, когда онъ уже видѣть ее предъ собою. Какъ ни прекрасна, какъ ни чудесна была полячка прежде, но теперь она „вдвое прекраснѣе, вдвое чудеснѣе: тогда было въ ней что-то неоконченное, теперь—это произведеніе, которому художникъ далъ послѣдній ударъ

кисти. То была прелестная, вѣтреная дѣвушка; эта—красавица, женщина во всей развившейся красѣ своей. Въ глазахъ ея выражается теперь полное чувство, не отрывки, не намеки на чувство, а все чувство". А грудь... а шея... а плечи... а волосы... словомъ—все это чудное созданіе полно теперь небывалыхъ прежде чаръ, и каждая изъ его прелестей отдельно заключаетъ въ себѣ бездну нового очарованія. „И ощущаетъ Андрей благоговѣйную боязнь" въ присутствіи полочки, „и стоитъ онъ передъ нею не-подвиженъ". Она является для него божествомъ, къ которому никто изъ смертныхъ не достоинъ приблизиться. Но это божество, это поистинѣ совершенѣйшее твореніе божіе между людьми, это полное олицетвореніе женской красоты, эта „лучшая изъ женъ", недоступна даже для тѣхъ избранныхъ, которые составляютъ цѣль „вельможного рыцарства", рвется душою и сердцемъ къ Андрею и любить его всѣмъ жаромъ, всей горячностью первой любви,—любви только что развившейся кипучей молодой натуры,—любви женщины, обладающей избыткомъ физическихъ и духовныхъ силъ,—любви живой, какъ сама жизнь, и мощной, какъ сама мощь. Истинная любовь и обыкновенныхъ людей, украшая ихъ прелестями святаго чувства, озаряя ихъ его свѣтомъ и жизнью, часто творить чудеса, часто воспalamеняетъ собою даже тѣхъ, которые раньше относились къ этимъ людямъ совершенно хладнокровно, совершенно равнодушно,—тогда какъ и замѣчательна, но недоступна красота леденить сердце и приводить въ оцѣнѣніе самые страстные порывы души, самыя сильныя движенія ея. Какъ же чудотворна должна бытъ могучая любовь, соединенная съ обворожительной, совершенѣйшой красотою и отзывающаяся на такое же могучее чувство, которое жадно, съ крайнимъ напряженіемъ, съ благоговѣйнымъ трепетомъ ждало ея отвѣта?! И дѣйствительно, прочитавъ „во взорахъ дѣвы то, чего не властны выразить ни рѣзецъ, ни кисть, ни высокомогучее слово",—Андрей всецѣло прозрѣлъ чувствомъ, что и погубить себя изъ-за этой дѣвы было бы для него высшимъ счастіемъ, высшимъ наслажденіемъ. Между тѣмъ въ то самое время, когда души и сердца ихъ сливаются въ одно,—отчество его требуетъ, чтобы онъ бѣжалъ отъ своей возлюбленной—и такимъ образомъ вмѣсто невыразимаго блаженства отдался бы адскимъ, безконечнымъ, какъ вѣчность, мукамъ. И этимъ требованіемъ своимъ отчество его ввергаетъ въ безъисходное горе, въ страшное отчая-

віе ее,—ее, за счастіе и спокойстіе которой онъ радъ всего себя принести въ жертву. Нѣтъ сомнѣнія, что всякий, болѣе или менѣе просвѣщенный читатель рассматриваемой нами повѣсти, всякий, въ комъ развито чувство правды, въ комъ горить свѣтильникъ истины, всей душою желалъ бы, чтобы Андрей остался вѣрнымъ сыномъ своего отечества, чтобы онъ личныя временныя блага пожертвовалъ общей, вѣчной идеѣ. Но въ то-же время, кто, прочитавъ чудный разсказъ чародѣя—поэта о взаимныхъ отношеніяхъ Андрея и полячки, найдетъ естественнымъ, что онъ—Андрей отвлеченной, далеко еще не окладѣвшей его душою и сердцемъ, идеѣ отечества предпочитаетъ живую, прекрасную, чудную, очаровательную личность, которая наполняетъ собою все его существо, въ которой вся его жизнь, вся его радости, весь—однимъ словомъ—божій мірь—и разстаться съ которой для него въ миллионы миллионовъ разъ тяжелѣе, мучительнѣе, чѣмъ разстаться съ жизнью? Нѣтъ! кто жилъ и любилъ, кто въ избранномъ имъ существѣ видѣлъ олицетвореніе всего лучшаго, для кого любимая личность была всѣмъ на свѣтѣ,—тотъ пойметъ, какой жизненной правдой дышетъ весь разсказъ автора объ Андрей. Поймутъ это и тѣ, которые еще не испытали сладости истинной любви, но сердце которыхъ, послушно естественнымъ законамъ жизни, открыто для такого чувства. А глухонѣмъ и обыкновенная человѣческая рѣчь непонятна, слѣпыть и красное солнышко не свѣтить.

Вообще—дивно и колоссальное видѣмъ и слышимъ въ чудной повѣсти „Тарасъ Бульба“. Дивны и колоссальны вѣроломство, ненависть, жестокость, безчеловѣчность... Дивны и колоссальны любовь, преданность, героизмъ, самоотверженіе... Но какъ мрачныя, такъ и свѣтлыя картины повѣсти въ высшей степени естественны, въ высшей степени вѣрны. Кроме всего сказаннаго уже, это подтверждается и самымъ дѣйствіемъ, которое онъ производятъ на насъ. Мы скорбимъ, горюемъ объ измѣнѣ лучшаго и храбрѣшаго изъ казаковъ. Мы проникаемся ужасомъ, страдаемъ душою и сердцемъ, чегодуемъ всѣмъ существомъ своимъ, встрѣчая въ повѣсти такія человѣческія дѣянія, отъ которыхъ рѣкою льется кровь людская, отъ которыхъ самъ адъ долженъ содрогаться. Мы трогаемся безпредѣльной любовью того же казака-измѣнника, его дѣтскою, безусловной покорностью предъ отцемъ, когда тотъ говоритъ ему: „Я тебя породилъ, я тебя убью“! Мы

озаряется правственными свѣтомъ, ощущаемъ духовный миръ, исполняется благоговѣніе, когда въ той же повѣсти видимъ такія искупительныя жертвы, которыми лучше всего выражается человѣческая любовь, человѣческая мощь и сила, которыми наиболѣе возвышается и освящается личность, которая самому небу доставляютъ величества торжество. Но всѣ эти различныя душевныя волненія испытываемъ потому, что картины и образы, порождающіе ихъ, дышать жизнью и правдою. И въ самомъ дѣлѣ! Развѣ человѣкъ, превосходящій своими дарованіями всѣ земные твари, не становится, однако, часто ниже этихъ послѣднихъ? развѣ онъ не придумываетъ для ближняго своего такихъ мукъ, что вся мудрость сатанинская, вся сила адская завидуетъ его изобрѣтательности, его жестокости? И развѣ этотъ же самый человѣкъ не дѣлается посредствомъ своихъ удивительныхъ способностей истииннымъ царемъ и властелиномъ природы? развѣ онъ изъ любви къ идеѣ, изъ любви къ ближнему не подвергается самымъ ужаснымъ мукамъ, не жертвуетъ всѣмъ для него дорогимъ и милымъ, не жертвуетъ жизнью и не возвышается духомъ къ Тому, Кто пострадалъ и умеръ за всемирную истину, за всѣхъ людей???

КОНЕЦЪ.









PG  
3332  
T33K5  
1883a

Stanford University Libraries  
Stanford, California

Return this book on or before date due.

